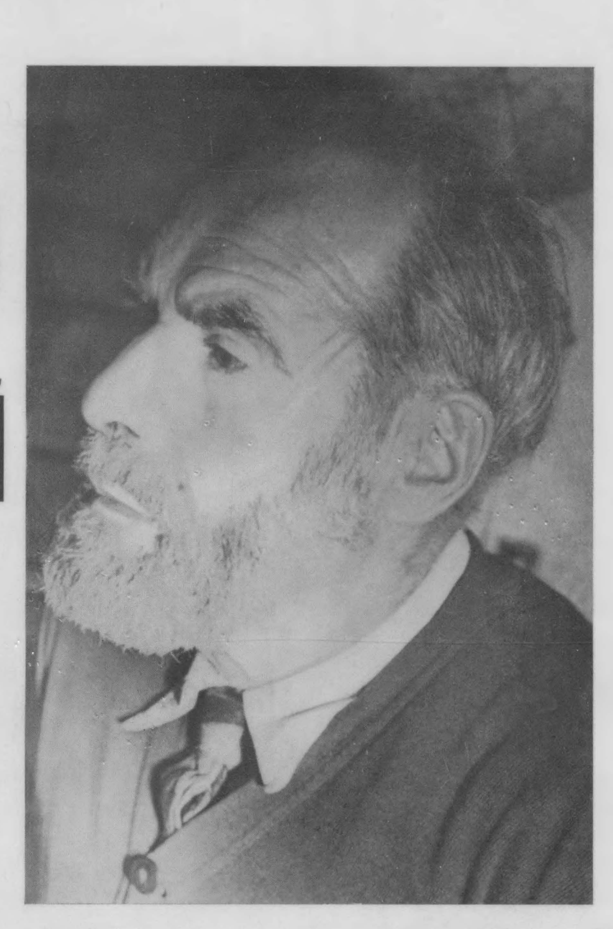
Новгород-Северский

СКАЗКИ СИБИРСКИЕ

ЛЕГЕНДЫ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ



Ив. Новгород-Северский

СКАЗКИ МИХЕИЧА

Herausgeber: Russisches Wissenschaftliches Institut in Paris.
Bestellung und Auslieferung: Editeurs Réunis 11 rue de la Montagne Sainte Génévième Paris (5e).
Druck: Buchdruckerei Einheit, Inh. I. Baschkirzew, München 8, Hofangerstr. 73.
Printed in Germany

Посвящается жене моей

Ю. А. КУТЫРИНОЙ

СКАЗКИ МИХЕИЧА

Сказки Михеича

— А не кажется тебе, Михеич, что дикий табун скачет?

— Не . . . Ничё. Не кажется!

— А не кажется тебе, что больших птиц несметная стая бьётся и машет крыльями?

— Не . . .

— А не кажется, тебе, что середь ночи кто-то зерно сыплет под стенку? Ишь, пошёл за новым мешком — сейчас принесёт!

И правда, слышалось ясно, как по-над стенкой зерно сыплется, ядрённое, как горох, крупное, как слеза оленья. Шуршит, сыплет, падает, бьётся о стенку.

— Вовсе не кажется, потому — это ветер!

— А мне вот, кажется!

— Кажется, да не выкажется. А выкажется — ещё страшней будет. Да, нонче страшновато, но только не от этого!

— А от чего?

— Не знаю. Знал да забыл — теперь не знаю!

— И я не знаю, Михеич!

Мы оба замолчали.

— Да что же это мы, как зайцы? Это ты всё! — вдруг встрепенулся Михеич, — Стой-ка-ся! Сказку скажу, а ты слушай!

Заячья беда

Уж ты заинька, зайка беленька,
Зайка беленька, зайка серенька,
Зайка в сторону скочила,
Тёплы ва́ленки мочила,
Во другую-то скочила...
Там река глубока,
Река тинова,
Река рябинова,
Там рябинушка часта,
Поцелуй девку в уста!..

— Это не сказка-те, а песенка. А вот и сказка:

Зайка жил один — сивый.

А его из-под кустика пыр, а его с деревца — тюк, а его из норки — хап!

— Кто?

— Да всякий!

А зайке жить охота. А зайке пить-есть надо. А какое тут житьё — прости Господи! — какое питьё: носу показать никуда нельзя. Шкуру просто с живого на чужое тепло дерут.

Твари-то всякой по тайге много. А тварь-то таёжная, не Божья — глазастая, зубастая, брюхастая.

Думал-думал зайка.

И год думал, и годы. И век думал, и веки. И надумал такое, что упаси крещённого Бог:

— Того бойся, и другого бойся! Нету тебе никакой жизни, даже смерти настоящей нету! Всякий норовит живьём проглотить, тёпленького!

— Пойду, говорит, утоплюся!

Пошёл зайка топиться. Навстречу ему другой, такой же косой горемыка, мокрый. Только что, видать, из воды вылез.

Спрашивает сухой зайка мокрого:

— Здравствуй, уда́ча добрый молодец! Ты куда это? Волей, аль неволей идёшь? Дела ищещь, аль от дела рыщешь? Кто такой будешь? Куда путь-дорогу держишь?

— Ишь, закудыкал: куды́, да куды́. На Кудыкину гору, к Кудыкину деду, к обеду!

Иду сколь волей, а вдвое неволей. И не куда иду, а отку́дова. Топиться ходил, да вода холодна — побоялся. Да и то сказать: пасть-то речная шире волчьей . . . У волка-то хрусть-хрусть и готово. А здесь сколь натерпишься одново страху, пока воды вдоволь наглотаешься. Шутка ли? Лена-матушка не Волге чета!

— Ну вот . . . А я тоже топиться шёл! — говорит сухой зайка.

— Не советую! — говорит мокрый. — Время только проведёшь, да шубу испортишь, — к зиме пригодится!

Зря ноги не труди, пойдём лучше волка искать!

— Вишь, это дело мне не подходящее. Я от волков, можно сказать. и топиться-то ходил!

Стали зайцы думать, как горю лихому заячьему пособить. Вот один и говорит:

— Знаешь, что я надумал? Ты смерти заячьей боишься, а я жизни заячьей. Давай вместе бояться, вдвоём-то веселей!

Стали жить зайцы вместе, — сухой и мокрый. От беды к беде бегали, теплой шубкой укрывались.

Мокрый сухого смертью пугал, а сухой мокрого жизнью.

Вместе и побаивались.

Вот так-же, как мы с тобой!

— о —

Паук и пчела

— У нас пасека была, недалеко от села. За кривым Иваном, за морем-кияном. Пасека небольшая — от Оби до Алтая, нять тыщ ульев. А пчёлы... Всего пять пчёл! Во какѝ пчёлы: кажна пчела по тыщи вёрст взяла. От улья к улью летает, никогда дома не бывает. На поход летят, ворота трещат. Коя посильней — тащит сто свиней, коя поздоровей — тащит по корове, котора недомогает — ворота́ подпирает. Мы с дедкой возьмём по гнёту, да выложим по соту и едим мёд, аж неохота!

Сказывают старики, быдто давным давно, когда людей на свете было так мало, что все они меж собой были братья — жили паук и пчела, тоже братом и сестрой друг дружке доводились.

И была у них одна мать

Дак вот, один раз, сидел себе паучёк за своим станком, ткал сеть рыбачью на дичь паучью, на мух — веселу́х.

Вдруг, является к нему̀, как лист перед травой, казак лихой, гонец-удалец, блоха.

— Собирайся в дорогу — скоре́йча! Мать твоя прѝсмерти, кончается — уж за попом послали. Охота ей повидаться с детками. С тобой паучком — серечком миз-

ги́рчиком, и сестрицей твоей, пчёлкой золотой, мохна́ткой. Да пошевеливайся! Садися, давай-от, ко мне на загóрбок — мигом домчу!

А паук и не думает трогаться с места. Работает — будто ни в чём не бывало, не к нему сказ.

— Знаем мы! Это старая песня! — ухмыляется паук, — Умрёт не умрёт, может только время проведёт. Старуха помирать стала что-то больно часто. Может какой раз и без меня обойдётся. Кабы знать, что помрёт, тогда дело другое. Постонет, покряхтит, поохает, а там гляди и выздоровеет. Скрипучее дерево дольше живёт. Стары люди живучи, может старуха-то и меня переживёт!

— Что же мне . . . Какой ответ держать? — сказывает блоха: — Ведь старуха-то всё-таки помира́т. Что сказать, если спросят, што тебя не́тути?

— А так и скажи, вот, как я сказываю. Не́когда, мол, мне по мертвецам шляться. Кабы дичь парилась бы, да жарилась, да сама в рот лезла. А то, вон, только снасть надыри́ла — не одна не има́ется.

Поскакала блоха, лихой гонец, к пчеле. Блоху-то прыти не учить: раз и здесь! Шутка-ли человек помирает!

Пчела и словом не обмолвилась. Недосуг было язык чесать, торопилась матушку свою в живых застать. Правда, на работу надо было лететь, за данью полевой, Божьей работнице. Таёжной пчелке работы много. Гре-

ха-то в тайге — что морошки. Как его одолеть без воску, без свечек . . . И если думать: всёй работы всё равно за свой век не переделать. Сколь ещё после смерти останется. Работа не медведь, в тайгу не убежит. Грех-от какой и под лавкой полежит. И в тайге его можно привалить каряжинкой. А смерть ждать не любит!

Обрадовалась старушка, увидала ласковую дочку — пчёлку. Благословила её и ей сказала:

— Умножится род твой, как цветы по весне, с которых ты собираешь Божью дань. Как лист в тайге по осени будет мёд твой золот. И будет слаще всего на земле, как любовь материнская. И будешь ты меж Богом и людьми посредницей. Будете вы, пчёлки, любить друг дружку и будете жить тесной семьёй. И будет повсегда у вас мать царица.

А братцу-пауку скажи, что жить ему отшельником, одно-одинёшеньку. Из года в год, из вéку в вéк, из векóв в вéки, будет чинить свою снасть. Он никогда не будет знать покоя. Ни в чём не найдёт себе счастья. Все его будут презирать, — даже те, кому он приносит пользу!

Так и стало. Паутину и ветер треплет и сучёк тычет. Мелкая дичь насквозь пролетает, крупная сети рвёт.

— о —

Не робей, воробей

А воробей со стрехи: чирик!
Не робей, воробей, — клюй поскорей!

Видишь-ли: на всё слово есть. Да не всегда ко вре́мю, да к месту спомнишь. Так вот, и я — начал сказку, а при́сказку то и забыл. Эх, грех-от какой: не шапка, а потерялась.

На свете всякому свое: кому золото и богатство. Кому покой, а кто всю жизнь о каторге хлопочет. Пчела к цветку, жаворонок к солнышку, а воробей-вор, зернохва́т. Птица небесная, а по дворам да задворкам шныряет. Крохи выхватывает, коноплю ворует.

Всякого Бог терпит на своей земле. Всякому радуется, будто он нужен Ему. А нам самим как знать, кто кого нужнее? Думаешь: подлец человек, а он возьмёт да из самого что-ни есть огня-полымя тебя и вынесет. Сам опалится, а тебя спасе. Так — без коры́сти, за здорово живёшь.

— Гуляй молодец, — скажет, — разводи овец! Да сей рожь, овес, ячмень, гречу, просо. Пеки́ просяники про странников. Бог поможет век дожить!

Вот, один мужик веял на дворе просо. Собрал его в кучу и отлучился, в избу. Баба позвала обедать: просо реденько, так и кашка жиденька.

Налетели на просо воробьи, рой осиный. Столько высыпало, будто их из дырёнаго мешка натрясли. Налетели и пошли чирикаться:

— Спасибо мужику, спасибо! Ишь, гору нагорил. Хорошее просо, гляди: зернинка к зернинке, ни соринки — чистое золото. Ишь, как ладно на зуб-от ложится. Ешь, коли хошь. Добрались-таки до добра. А то позабыли как и просо зовётся.

Но тут один воробей подбоченился, эдак вот, и сказывает:

— Не мужиково это просо, а суседово. Я сам слыхал, как они торговались. Сам видал, как рука об руку ударились, сговорились. А мужик перед тем просо с ладошки на ладошку пересыпал. Дул на ладошку, как на совочек, сквозь солнце глядел на просо. Глаза сощурил, приговаривал: — Не просо, янтарь. Ел-бы сам царь, а я вот тебе этим просом угождаю!

А другой воробей и говорит.

— Што ты, как ворона перед дождём? Думаешь — героем стоишь? Языком толочишь: Продал, продал! Продал, да не всё. Два пуда себе оставил!

— Что ты врёшь? Что ты врешь всё! — репьём взъерошился третий. — Тут и всего-то полпуда не будет!

Начали воробьи ругаться да клеваться. Будто свет выворачивать. Дым коромыслом. Подняли такое, будто столпотворение Содомское.

Услыхал мужик, — воробьи штой-то разошлись, — и думает:

— Глянуть, штоль, пойти, что там за народ база́рит?

Вышел на двор, — они са́мые! Увидал базар воробьиный, да как зы́кнёт:

— Ах, вы такие, сякие, эдакие! Кой леший тут вас натрёс. Ишь, разбозла́лись, рвань птичья, сор пуховый. Разжились на чужих хлебах, обнаглели. Насмелели, псы ненасытные. Вот я вам . . . Нечистый вас! . .

Схватил метёлку, да на них, с метёлкой-то. Испугались воробьи, сорвались. Кто-куды: кто под стреху, кто в скворешню. Кто промеж поле́нницы в чисто поле, на волю.

Так и не довелось им, в ссоре, пообедать. А ведь совсем было наладились. Проглуповали своё воровское счастье на чужом просе. Известно, чужое-то впрок не идёт. Его из-под носу лукавый уносит: для себя, на чӧртову кузницу. Либо псу под хвост. Да и время-от теперь такое, что и своё проморгать, — что раз плюнуть!

— о —

Бабкина радость

У него два чина: дурак да дурачи́на!
(Поговорка)

Сказано да пересказано: заставь дурака молиться, а он и лоб разобьёт. Вот, говорят, будто дураков за́-морем много. Ну, да их везде хватает, видно. У нас их тоже не занимать-стать. У нас их не сеют — сами родятся, как грибы. И каких только нет: и дура́нюшки и дурачки́, и дурале́и, и дуранда́и, и дуранда́сы. Заморских прихваливают: за́-морам дураки вишь ты каки, загляденья. Каки́ шоколадные, каки́ мармаладные. А своих ха́ют: наши дураки вона каки́ — лы́ковые да моча́льные.

У дураков всё по дурацки. Не к тому я всё это ба́ю, чтобы корить. Что дурака корить, коли он дурью пока́ран. Вот расскажу лучше.

У нас так: чужой сын дурак — смех, свой дурак — горе.

А вот у бабки у одной внучка была. Дура не дура, а так — не со всем умом, с при́дурью. Беда не большая, но известно — домашняя беда и малая, а хуже чужой большой.

Бабка рано подымалась — ни свет, ни заря. А вста́мши за дело бралась. Печь топила, хлеб месила, избу ме-

ла, петуха кормила. А потом на колодезь за водой ходила, либо подале, на речку.

А внучка меж тем всё на печи лежала.

Уж давно в кабе́дню отзвонили, она всё ещё спит-потягивается. С боку на́ бок переваливается. Уж разве наскучит лежать, ну-тогда скажет спросонья:

— Бабка, надеть мне обу́тки?

— Бабка, нет ли ша́нюшки?

Встанет неумы́телькой, попрыгает на одной ноге, как во́бла на хвосте. Сядет нечёсанная к окошку мух считать: сколь прилетело, да сколь улетело. А как со счёту собьётся, так уж не знает чем бы заняться, за что приняться. Ей бы на печь — спать не хочется, бока отлежала. Ей бы поесть, а и так брюхо пучит, на еду глядеть тошно. Ей бы к окошку: — мух-то считала, и ворон считала. Заяц пробежал и того присчитала. А почему он мокрый — не подумала.

Осерчала как-то бабка, истошным голосом завопила. Откудова и слова взялись эдакие:

— Ах, изжабило-бы тебя! Ну и дитёнок! И где ты зародилась? У людей дети, как дети. Ну как это можно день-деньской эдак вот: ничего не де́ламши. Сердце истаяло на тебя глядючи. Обрадовалась своему чину — дурацкий чин завидный. Лежи на печи, да жуй калачи, да ша́ньги выколупывай. Будет тебе тараканов уве́чить, за дело берись!

— А что делать, бабка?

— А то!

— Что?

— А что люди делают!

— А что они делают, бабка? Каки́ таки́ дела?

— А вот спрашивай, спрашивай! Он те поспрашивает. Он те баню задаст. Вылезет с запе́чья да хворостиной хорошей как почнет греть в заго́рбок! Тогда увидишь!

Взяло́ внучку раздумье. Не всё поняла она башко́й своей дурацкой, но всё-ж смекну́ла. А не то што застыдилась. Смекнула, что домовой может и не тронет, да бабка-то прибьёт. Разошлась больно ши́бко.

Только бабка за дверь, а внучка со всех ног, на село. Глядеть что де́ется-творится. Зашла к суседу, а там пшеницу веют. Пошла в другой двор: у баб постиру́шки — рубахи моют. Пошла в третье место — хлеб месят, в печку сажают.

Воротилась внучка домой. Искала, искала пшеницу: нет пшеницы, ни крупи́нки, ни пороши́нки. Ни в избе, ни в овине, ни в каком другом месте. Взяла муку, и ну веять: — веять-то надо! Всю муку ветром и разнесло.

Кончила внучка одну работу, взялась за другую: скипятила воды. Поискала — видит: бабкин тулуп висит, как святой, на своем месте. Сняла, и давай мыть-парить. Выпарила и повесила сушить. А сама опять за дело взялась — спешит. Куды тут — хлеб печь надо! Туды́, суды́, а муки-то и нету — ветром раздуло.

— А всё же к обеду-то что-то надо! — думает. Взяла Жучку и в печку.

Воротилась бабка домой, а внучка и говорит:

— Я видела, бабка, что люди делают. Целый день работала: муќу провеяла, тулуп выпарила-вымыла — сушится. Вот только Жучка испеклась-ли, надо поглядеть. А то — на грех, чего доброго, — подгорит. У меня-от, за делом, про Жучку совсем из головы вышло.

Забегала бабка по избе, — ах! ах! — туды́, суды́, да уж поздно. Осталось только руками развести, да попорченое выбросить. Вот и весь сказ.

Поплакала бабка малость, да так ничего и не выплакала.

— Дурь и есть дурь, — подумалось ей поразмыслившись: — Ишь, дело-то какое!

Не нужные, — будто,— слова, да вот кто-то к сказке прибавил: не гребень волос дерёт, а время. Не время волос белит — кручи́на. А кто кручи́не причина? Сам дурачи́на!

— о —

Пуза́н-Велика́н

— Велик овин, да пустой. Мал горшок, да с кашей. Да я с конца что-то начал. Надо по порядку! — весело начал Михеич:

— Ходили мужички в овин хлеб молотить. Подъели кашки, а горшок-от и забыли — невзначай!

Беспокоится щерба́тенький, округ себя глядит:

— Как то там без меня бабы, хозяюшки-умницы, управятся? Ты не знаешь-ли, овин, куда мужики девались?

— Не знаю я твоих мужиков. Мало ли их на селе шляется. Да ты сам то хто будешь?

— Зовут меня зову́ткой, величают уткой. Родился я на кружале. Рос, вертелся, живучи парился, живучи жарился. Помру — выкинут в поле. Там меня зверь не съест и птица не склюёт. Никто тогда не спомнит. А пока живу, без меня в дому́ никак не обойтись нельзя. Горшок я, вот кто!

— Ах ты, башка́ с кишка́ми, мозга́ гречневая. Ах ты пуза́н-великан. В родню толст, да не в родню прост. Вот я те брюхо протру. Я те такое задам — закрасуешься. Гляди-ка важный какой — ишь, что удумал. Да кто про тебя помнит, скажи-ка-ся на милость? На кой ты кому сдался. За каки таки заслуги? Эко ди́во, поду-

маешь, нéвидаль: — горшок я, горшок. Да я, может, в тыщу раз тебя больше, — не тебе чета́! А меня и то раз в году споминáют, когда хлеб молотить надо!

— Твоя правда-истина, я помене тебя буду! — отвечает горшок: — мал я малёшенек, это ты верно. А только я каженый день с кашей бываю. А ты сколь большой, столь пустой: у тебя только ветер от хлеба до хлеба!

— — — —

— Неправда! Вот уж неправда! Горшки с овинами спорят, да ещё говорят такое...

— А тебе, может охота знать, кто про это сказывал?

Тю́ха, да Пантю́ха, да Кривой Андрюха, дядя Павел, да я подбавил. Глухой Ермо́шка, да я немножко. Язык, что кулик: на подъём лёгок. Слово по слову, сказка и набежала.

Знай, только слушай!

— о —

Сиверко

Слушай дубрава, что тайга говорит.
(Сибирская поговорка).

Тайга жила бурной ночной жизнью.

Всё в ней было необычно.

Кедры метались и злились, отбиваясь от ветра. Просились к Михеичу погреться. Ветер спорил с шумом дождя, свеча уныло коптела. Притих дед.

Тайгу заслушался, да ветра-ветровы вольные песни . . .

— Так, вот, про ветер послушай:

Порасхвастался, как-то, ветер сибирский, Сиверко-Снеговей озорной, гулящий — врать-то куды́ как гора́зд!

— И нет у меня супротивников. Семь ветров нас, семь братьев. Шесть ветров-полуветро́в. Шесть соколов, а седьмой я, орёл, ветер-ветрище-богатырище. Надо всеми старшо́й, всему хозяин.

На небо полечу: тучи гоняю, солнце закрываю. В тайгу пойду — тайга кланяется. Хочу ель своротю, хочу берёзу выворочу. Ельничек трещит, берёзничек поскрипывает. По селу пройдусь — никого не боюсь. Лежал на печи, стерёг калачи, старый дедов тулуп.

Тулу́пишко старый, тулу́пишко драный, заплатанный. Услыхал тулупишка, што ветер што-то сказывает и говорит:

— Кхе! Кхе! Што ты, ветер, што ты вольный? Слово твоё пустое, залётное. Што ты там, што срамни́к, што ты — кхе, кхе! Што ты там ветри́шко сказываешь?

Испужался ветер:

— Да разве я што . . . Я ничё . . . Да вот говорю, брату́ха у меня старшой есть — тулуп, тот всех сильней.

Дунул ветер, что есть мо́чи. Только его и видели: в кругосвет опять пустился, в побродяжество. Без пути, без дороги. Коли не на край света, то на край Сибири-матушки, к студеному морю-кияну. В пустоплёсье, к глухоморью сибирскому.

— о —

Зна́йки

Так вот:

Жили старик со старухой.

Не у самого синего моря, а так... в тайге вот у нас! На зава́ленке посиживали, орешки кедро́вы пощёлкивали.

Двор у них был большой, богатый, что ца́рские пала́ты: небом крыт, звёздами горо̀жен. Очажо́к к ка́мушку приткнут, и всё тут.

Было у них и хозяйство не малое: собачка-пустола́ечка, кошечка-судомо́ечка. Кони́шко-болтоно́жечка, ове́чка-топоту́шечка. Коза́-дорога́, да олень золоты́ рога́. Был ещё козёл, да баран, да сын Иван, твой тёзка.

И хороши́, будто, люди были. Да только никого до конца не дослушивали. Умные были — всякого перебивали:

— Знаем, — мол—знаем!

Раз ночевал у них странник, кали́ка перехожий, — разговорились.

Вот старуха и спрашивает:

— Чем живешь ты, человек Божий? Поди́ моли́товкой всё промышляешь?

— Молитвой не молитвой, а вот посошком перебиваюсь. Посошёк у меня чудесный. Ударишь раз о земь,

до полнéба улетишь. Ударишь вдругоряд, совсем со свету скроешься. Ударишь в третий . . .

А старик-от, как услыхал, скочúл с печи, да заместо того, чтобы спросить, как в рай добраться, али домой воротиться, закричал на всю-от избу:

— Знаем, мол, знаем!

Схватил старуху, ударил посошком о земь два раза и полетели на небо. Ходят они по небу, как кулики по болоту. С облачка на тучку, с тучки на рáдушку, с рáдушки на зóрьку. Стало им горько, умáялись — сели и плачут.

Подходит к ним Микола, угодник мужицкий, и говорит:

— Что вы плачете-сокрушаетесь, люди добрые? Куды́-откýдова путь дéржите?

— Не здéшни мы, ломачёвски, с таёжных выселков. До рая никак не доберемся. Дороги-то не видать, запорошило видно. Не поможешь ли как, родимый? Мы уж тебе и свечку поставим, домой-от воротимся!

— А зачем вам, кака дорога? Старым-то людям печь да заваленка!

Дороги-то в рай, как и в тайгу нет. С дорогой-то всякий дурак путь в рай узнает. Вы бы Господу молились, рай-то не седьмом небе, не здеся!

Подумал маленько Микола. Жалко ему стало стариков, он и сказывает:

— Ну уж так и быть, пущу вас в рай! Как ухватитесь, вон, за энту ближнюю звезду — сразу на второе небо угодите. А как доберётесь до той, эвоно, до щербáтенькой — на третьем будите. А как уцéпитесь ...

— Знаем, знаем! — закричала старуха: — Знаем, Миколушка, побóле тебя на свете вúдывали!

Вскочила старуха, — откýдова и прыть то взялась! Схватила старика, да и уцепúлась за самую, что ни есть дальнюю звезду. Мол дело скорее будет. Да кричит старику: — Цепляйся за ковш-от, вишь семь звёздышек-то болтáются ... — и упала старуха со стариком на землю.

— Да, сказывают, и теперь на земле живут. Так знáйками и прозываются.

— o —

Щучье слово

Селенье в тайге было, — так, деревнюшка. Может, четыре двора будет.

— Как прозывалось?

— Дыть Сибирь-то... Она, матушка, не сто верст ходу, штобы все села-то знать! Сибирь-то вёрстами не измéрена, шагами не мерена. Баба-Яга мерила клюкóй, да воротúлась домой: ни длины, ни ширины. Знаю только, что в тайге, в котловúнке. На реке-Нетéчи, всё быльем порóсшее.

И было ли оно — кто знает! Да и не к тому дело. Не затем и сказ.

Ну, вот... Пришла туды́ бабка, словно нежить. И уж такая старая, в чём душа держится. В тайге сидела, из дупла глядела, на пень Богу молилась. А известное дело, что из гнилова дупла — либо сыч, либо сова, либо сам сатана.

Вот она ворóжкой и обозвалась.

— Жизнью,— говорит,— до всего дошлá, старостью!

А какая там ворóжка. У людей кровь заговаривает, а у себя и из-под носу утереть не может.

Бродит по селу, как цáпля по покóсу, с клюкóй со своёй дóлгой. Глазúщами зы́ркает, носúщем шмóргает, зубúщами щёлкает. Лечит всё, да ворóжит, да наговá-

ривает. А слова-то всё сказывает неслыха́нные, неду́манные, незна́нные:

— А я знаю откуль взять, да не знаю, кому дать. А как узнаю, кому дать, то не знаю откуль взять!

Пришёл к ней, об одну пору, лесник и спрашивает:

— Да, что ты, бабка-то — знаешь?

— А вот знаю словцо́ одно, щучье веле́ньице. Повернёшь так: медведь стретиться — не тронет. Повернёшь эдак — и таракан изувечит.

— Ну, спасибо тебе бабка, — сказывает лесник, — только тараканьего уве́чья я не боюсь. А про медведя, может, твое щучье словцо́ и хоро́шее. Но лучше ужо̀ мне, бабка, вовсе с лесным хозяином не встречаться, с Михайлой то Ивановичем!

— о —

Пень и каряжина

Да, — так, вот, ны́чит! Жили на речке, на таёжной, брат и сестра — пень и каряжина. Один пониже, другой повыше. Пень-то на сухом месте, на бережку. А каряжина в воде.

Вот, каряжина раз и думает:

— Хоть бы мне одним зырко́м глянуть! Ка́ка така́ земля есть? Что на ей деется-творится? Сказывают цветы по ей лазоревы. А наверху небо всё в алмазах. Так и век проживёшь, а свету не увидишь. На то Бог и глаза дал, чтобы на свет глядеть, да себя каза́ть. Сидишь тут — только рёбра поло́щишь. Да бе́льма песком натираешь! . .

А пень, о ту по́ру, тоже ворчал — на зе́млю обижался.

— В воду головой придётся. Свет не мил. Всяк ты́кает, всяк мы́кает. Будто и не на пути стоишь А всякий норовит тебя задеть. Того и гляди шею сверну́т. Либо пу́зо продуплят, на бок своро́тят. Хоть раз бы закрыло водой, отдохнул бы. Царство водяное, сказывают, и краше, и спокойнее. Его и Садко́ на гу́сельках славил.

Пришло, об одну пору, тако́ сухо́ лето, что каряжина увидала землю. Речка-то обмелела. Глядит каряжина: жёлто всё. Ни травинки, ни были́нки, — как в пе́кле.

Каки́ тут цветки́! Солнце жжёт, ветер су́шит. Песок почи́ще речного, глаз порошит-режет.

— Худо на земле! — завопила каряжина: — Ещё малость и тре́снешь! А раньше-то вода бежит мимо шелковая. Сказки-песни курлычи́т. Русалки обнимают — венка́ми украшают. Рыбёшка кружится — хороводы водит. От рыбаков-варнако́в, от щук — старых сук, ко мне прячется! Что мать я ей родная! Да и рыбаки наведывались, рыбки поша́рить, нали́мчиков. А то и сам хозяин пожа́лует, водяной дедушка, — посидеть.

Всем нужна я в воде!

И она очень рада была, когда подоспела осень. Речка разбухла от дождя и в свои берега уперлась. К ней, к каряжине, вороти́лась. Прошло ещё сколь время. А речка всё бу́хнет, да бу́хнет, как тесто в квашне́. Да как чарка, на гулянке хорошей, через край хватила. Разлилась так, что держи — пень под водой очутился.

Речка в по́лую воду грязная, буйная, — как хороший пьяница. Как пень, на старости лет, ни клева́л носом: вздремну́ть чтобы, — не дали! То кара́сик пу́зом ткнётся, то ёрш спиной зубастой цара́пнет. То пискарёнка в бороде, как блоха запрыгает. То водяно́й за ши́ворот песку набьёт. Как не пу́чил, не тара́щил пень глаза, ничего пу́тного в воде не увидел. Муть одна, да сырость.

— Ах, штоб тебя! — пыхте́л пень, когда полово́дье кончилось. Речка унялась-остепенилась и он на бере-

гу очутился. — Слава Богу, что хоть и мокрый, а из воды вылез!

Начал отряхаться. Вонючу тину сплевывать — речное счастье.

— Нет, — грит, — ничего на свете лучше земли: твёрдо, прочно. Не на китах-же Господь землю поставил, а на камени. А что беспокойство . . . Дак что поделать! Где его нет? На том свет стоит-вертится!

И пошло у них всё по старому — как мать поставила. Каряжина в воде, на своём месте, своё каряжье дело справляет. А пень над водой торчи́т, как сыч.

Не пеняй на судьбу,
На всяко ремесло по семи злы́дней!

— о —

Каю́к-Озеро

— Да там не озеро, так-каючёк невели́чкий, а потонуть можно.

— Ты что там каючишься, без дела болта́ешься.

— Лодка-каю́чка: корабль не хрупкий.

— Там ему и каю́к был, по́мерся.

(Из рыбачьих разговоров.)

Не до шу́ток рыбке, коли крючком под жа́бру хватают. А то вот ещё поговорка есть сибирская: два карася ва́рятся друг дружку попрекают.

Думаешь нехитрое дело сказку удумать? Сиди, мол, да наговаривай — в некотором царстве, в некоем государстве, жил да был, да весь сплыл. А вот начни-ка! Попробуй! Другой раз гладко всё, а другой раз словом-от: скок, скок! А то и вовсе на одном месте станешь, запнёшься. Как конь стреножный. Вот дело-то какое!

Путались два карася по мелким речушкам да по озерушкам. По рекам широким, по озерам глубоким. И пришли к Каю́к-Озеру.

В Каю́к-Озере жила щука — старая престарая, костлявая, кожа да кости. Под Москвой её поймали, а за

щекой у неё медаль была приделана. И на той на медали было прописано, что, мол, эту щуку пустил в Енисей пророк Елисей. Вот тут и раскинь умом сколь годов она жила. Как в Москву-реку попала. И как в Каю́к-Озеро переметну́лась.

Карасик к ей, к этой щуке:

— Здравствуй щука, стара сука! Мы к тебе не с худом. Наведаться пришли, да про судьбу погадать!

Караси были зазо́рные, любили поозорни́чать. А тепе́рича, к тому-ж, вымещали щуке старую обиду, не боясь щучьего зуба. Мол теперь она не то што карася, а и мо́шку не угрызет.

— Кому су́ка, а вам, варнаки́, ба́ушка! — отвечает щука. — Не путёвое вы дело затеяли, бездомники. По свету не путайтесь, меня слушайтесь. Для карася новая вода — дохлое дело. В тине сидите, тину глядите. Тинной водой радуйтесь: тинная вода затенистая. Сюды́, в Каю́к-Озеро не ходите. Здеся рыбаки вашего брата-карася ищут, все фонари побили. Не попались мне на зуб маленькими, попадетесь рыбакам в суп, удаленькие!

Вильнули караси ра́за по два хвостами! Может через каку́ минуту, — какая у бедо́вых память? — забыли щукин наказ. Пошли в Каю́к-Озеро. А может и помнили: мол, на прощанье нагуляемся, а потом закаемся.

Пошли караси-прола́зы без щучьего нака́за. Пошли дальше путаться, никого не слушаться. Карасиные ли-

хие песни поют. Слыхать-то этих песен не слышно, а только пузыри видать: буль, буль, буль!

Ну, да рыбаки-от народ до́шлый. Услыхали рыбаки издалёка караси́ны голоса тонкие и начали карасей ловить. Будто их карасей только и дожидались. Пришёл рыбак Бро́дька — бросил карасей в лодку. Пришёл рыбак Петру́шка — бросил карасей в плету́шку. Пришёл рыбак Терёшка — побалагу́рил немножко.

— Мы по морюшку ходили
Рыбушку ловили.
Поскорее к бережку —
Похлебаем ушку!

Идут рыбаки домой, дорогой наговаривают:

— Славнецких карасев надёргали, карасятины отведаем!

Любит карася сметана, а уха его также одобряет. Ну, а хорошо-ли карасю в ухе? Знаешь, поди, сам, что спрашивать. Варятся карасики, вертятся в горшке. Рты още́рили, горло перекричали. Вот один и сказывает другому:

— Это ты меня выдал. Хоть мы и гуляем вместе и попали вместе. А ты с рыбаками заодно. Под тобой, вишь, глякося, и уголков меньше. Заману́л в свою заводь!

— Молчи, изме́нщик! —говорит другой; — ты меня рыбакам выдал. Пожалел своей заводи!

Так и перекорялись два карася. Пока не сварились.

Здесь и сказке конец, что было — всё сказано. Часто так бывает: ищет человек шапку, а головы-от нет. Надевать не на что. Может скажешь: «К чему тут шапка?» А вот к тому, что сказано — к сказке. Сказка сказана, а голова замазана. Слушаешь, не понимаешь. Ай, понял?

— о —

Мизгирья расправа

Сидит комар на листу́, молится Христу:

— Дал Ты мне волю над всей тайгой. Не дал Ты мне воли над рыбой морской!

А один шаман комару говорит:

— Спой песню промеж Рожества и Хрещенья, в Воскресенье. Дам тебе власть над рыбой в море.

Дам тебе нос железный, о сто пуд. Будешь проруби долби́ть и рыбу ловить — обжираться!

Это не сказка: — присказка!

По край болота жил мизги́рь-паучёк простой, да клоп толстой. Мо́шка грязна, да строка прика́зна.

Они воевали, да воровали. Да, сказать-те, друг дру́жку хвалят. А мизгиря бойца-удальца, ни в какое дело не ставят.

Это мизгирю́ стало вроде как вредно. Он с горя, да с кручи́нушки стал ножки трясти, да мере́шки плести. Да ставить те мере́шки, на те пути-дорожки, где мухи летали, мёду искали. Одна муха летела, да в мере́шку попала. Мизги́рь пришёл, в мере́шке муху нашёл, да и говорит:

— Ты, что мою снасть дыришь?

Взял, да муху и связал, стал бить, губить. А муха мерёшку дерёт, во всё горло орёт.

Услыхала их драку оса. Она прилетела боса, без пояса. Прилетела, да тут же в мерёшку и попала. Однако рвалась, да вырвалась и говорит:

— Ахти́; Тошно мне-ка! Лучше жить бы мне во своёй слободе. У нас выезды частые, а у мизгиря-душегуба, замыслы лихи́!

Вот по весне, пустили про мизгиря, другие мизгири́-разбойники, таку славу. Будто его на Соколи́ный остров сослали, в остроге закова́ли.

Мухи ошалёли как дурные, где по́падя летают. Песни распевают, людей кусают. Никого не боятся. Цело лето тешились — жирели.

Стала мухам осень не по нутру. Осенняя муха злющая, собрались они все к дуплу. А мизгирь-от сдружился тогда с клопом, да с тараканом. Да с другим шаманом, да со сверчком-ба́нником. Вот дупло и подтене́тели.

Сверчок-молчо́к! Сел на сучо́к, да в скрипочку заиграл. А клоп, таракан, да шаман уча́ли бить в барабан.

Мухи такого шума испугались. Думали пожар горит. Из дупла выбирались, да в мизгирёву мерёшку попались. Стал их мизги́рь судить, рядить. Кто на том суду, кем был, не знаю. Только тому судному делу был конец. А кто сказку сложил — молодец!

— о —

Шкура барабанная

Шкура бараба́нная и кузнешный мех пошли к коже в гости. Роднёй, вишь, доводились.

Хоть и не люди они, но на людях живут и людски́м не гнуша́ются. Родню почитают, родню не забывают: в гости ха́живают.

Приняла их кожа к себе, накормила, напоила. Как за детьми, за своими малыми, ходила.

Долго-ли, коротко-ли они там были, про то не мой сказ! А только напили, наели они ниве́сть сколько. Почли хва́статься, ва́жничать — будто так, к слову помина́ть.

— Без меня, — сказывает шкура, — ни одно военное сражение не обхо́дится. Ни одному царскому параду не бывать. Спокон веку так. А у музыкантов для меня первое место.

— Ни один кузнец, — сказывает мех: — Ни один народ без меня жить не может. Меня бы не стало, как бы сохи ла́дили, железо кова́ли, хлеб роди́ли!

И пошли, и пошли. Повели туру́сы на колёсах: ты да мы, то да сё.

Опостылело коже похвальбу йхную слушать. Та и сказывает:

— Большой почёт тебе, сестра шкура! Большая польза в тебе, брат мех! А кабы ты, шку́ра-бу́ра, натянулась сама́, да забарабанила. А ты мех-от, на грех-от, сорвался-бы, да сам дуть начал. Что тогда? Ума у меня не палата. Невдомёк мне, дуре деревенской!

— Штобы я барабанила — надо барабан хороший. Да барабанщик знающий, солдат лихой! — сказывает шкура.

— Штоб я дул, нужна кузница спра́вная. Да окромя того, как водится, поддува́ло-парень здоровый! сказывает кузнешный мех.

— Вот вы себе сами цену и сказали: —молвит кожа: — Ничего вы одни не сто́ите. Так нечего вам и похваляться!

Уехали гости. Ссора не сор, улеглось всё, как пыль по дождю.

— о —

Зе́лье лю́тое

«Батюшка хмелёк, не попихивай вперед!»
«Хмелёк щеголёк: сам ходит в рого́жке, а нас водит нагишо́м!»
«Пословица говорится: огонёк-царёк, а води́ца-царица. Земля-от царями держится: орёл всёй птице царь, кит всёй рыбе царь... А на огороде царицей — редька!»...

Так, вот! Приполз к ей, — к редьке, — об одну пору, хмель. Вьюном приволочился. Ревёт, плачет:

— Ох, мо́ченьки моёй нет — искале́чили! Вызволи, матушка царица! Твой поп, лук, лют больно. И а́дской лютости его не могу больше вытерпеть. Сидит как пень, во всю грядку брюхо отрастил. Все ноги отдавил!

— Как так! — сказывает редька, — Позвать попа!

Пришёл поп-лук. Волосья долгие, зелёные. Важный такой, поперёк себя то́лще. Поверх двадцать одёжек-подрясников, — по чину. Пот с него ручьем — еле брюхо из земли выволок. Торопился — бороду белу завязи́л, в грядке осталась. Говорит редьке:

—Уф! Здравствуй, мать редька родная! Царица наша огородная! Ты пошто меня кли́чешь?

Рассвирепе́ла редька:

— А ты что-ж это, пенько́вы твои усы, моча́льна борода, баба бородатая? От хмеля жалоба на тебя! Пошто тебе хмель не́друг? И какая у тебя с ним недру́жба? Расти, сказывает, не даёшь. Ноги отдавил! . .

— Каки́ таки́ жа́лобы? — отвечает лук. — Я только своё место по́лню. Живу — не мешаю, умру — место опростаю. Вот я какой! Я только што . . .

Еще люте́й стала редька:

— Врёшь?

Испужа́лся лук. Видит, что приходится пропада́ть. Свире́па редька! Дело не о пустяках, о голове идёт. И забожи́лся:

— Во́т те и́стинный! Сейчас издо́хнуть! Не веришь? Повернуться бы в гробу старому деду моему хрену, если я ху́до какое помы́слил супроти́в хмеля. Не видать мне деток моих чесноча́т, е́слиф што . . . Хучь и верно сказывают: какой приход — такой и поп. Крут я сердцем . . . Крут я, да отхо́дчив. А ты спроси у людей, кто полюте́й: я-ли, хмель-ли!

Послала редька солдата — жёлтую шапку, ла́зняпро́лазня, со́лнешника. Он ко всякой дыре́ гвоздь, на всяком огороде пу́гало:

— Приведи монаха! — молвит редька: — Монах — святой человек, все науки превзошёл. Все книги каки

есть — прошёл. И даже позабыл: вот какой учёный. По всёй по правде рассудит!..

Пошёл сóлнешник к монаху.

— Идём, — говорит, — попа судить скорéича. Редька-царица сказывала!

Пришёл монах, святой человек горох, — великий пóстник.

— Так и так, — сказывает редька. — А ну-ка, — говорит, — что в науках твоих про это значится, дурачёк Божий?

— Не знаю, мать! —отвечает ей горох, — Мирским делом не занимаюсь. Пощýсь, в рай прошýсь: не пущают. А только посмотрю я в Голубиную Книгу. Мудрёное дело, а для тебя постарáюсь. Постараться можно, ежели . . . А Голубиная Книга большая — с избу будет. Вместо листов в ёй гробы́. Перелистнýть страницу — гроб перевернуть надо. Кóсточки-то гремят, как чётки. Страшная книга — мечами, кровью челевеческой писаная!

Раскрыл монах Голубиную Книгу и читает:

— Лук, пища пóстная — на потрéбу человéков. Хмель — зелье лю́тое, безнóгое. Змием вьётся: змию подóбное, от змиева ребра расти почало. Отрава горькая людская!

— Что же ты это, хмель, огород горóдишь, клеветý пущáеш? — зарычала редька: — Выходит, ног у тебя нет, сказываешь — отдавили? А ну-ка, судить хмеля.

Ну-ка, тыква, — голова садовая, большая ученая! Что в моих законах огородных прописано? Там, думаю, всякое лыко в строку, кто ряду перечит!

Стала глядеть тыква в законы, стала рядить. Да судить, да пересуживать. И порешила:

— Кто кривдой почнёт жить, быть кривому навеки!

Вот тут редька и молвит:

— Ползи, хмель-трава, зло людское, кипучее, куды ветром клонит. Вейся, извивайся: будь ты со свету трижды проклят. Во имя Отца аминь, Сына, аминь, и Святого Духа — Аминь! Сгинь, сгори огнём негасимым. Сгинь вовеки! Кто с тобой спознается, тому тоже валяться — ноги потерять. А спознаются с тобой люди худые. У кого одна дырявая полушка заведётся. И на тую полушку они тобою мыкать будут. И не столь мыкать, сколь разблюют!

Это редька так сказывала!

А на мой сказ:

Не трожь жалючье отродье. Пусть ползёт своими змеиными тропами. И у тебя дорога есть. Виноват-ли хмель, что от змия расти начал, что нету у него никакой иной радости, не дано, окромя змеиной: — ужалить!

По Сибири хмелюшка гуляет,
Сам себя хмель выхваляет:
— Нету меня, хмелюшки, лучше,
Нету меня, хмеля, веселее —

Меня государь, хмеля, знает
Князья и бояре почитáют,
Монахи и патриархи благославляют.
Без хмелюшки свадеб не играют,
А и где бьются, где дерутся, все во хмеле,
Без хмеля не бранятся, не мирятся.
Только лих на меня чалдон-таёжник,
Он почасту в тайге работáет,
И глубоко борозды копает.

Сквозь хмелиночку тычи́ну пропущает,
Поливает да навозцом застилает.
Тут-то я, хмель, догадался:
По тычине вверх подавался —
Над чалдóном я не надсмеялся:
Как ударил его в тын головою,
А ещё в грязь длинной бородою!

— о —

Ворона Карповна

Эдак в марте месяце, в осьмóй было тысячи. Сера кукýшица, горе-гóрькая бездóмница, вековечная бездетница бьёт челом, сизым орлам-царям, белым соколам-князьям, пёстрой куропáти-дворяночке.

Жалится на разбóйну порóду, на Карпову дочь-ворону, Ворóну Кáрповну. Будто она, де, разбóйна порода, Карпова дочь, Ворона Карповна — кукушье гнездо разорила, кукушат поприбúла. Ноги-руки им вязала, в яр кукушат побросала. Пять рублей денег украла. Да ништо по полям летат, хлеб-зерно оббивáт, хрисьян зорúт. Хрисьяне разорúлись, по-миру пустились, в побродяжество.

Сизы орлы, белы сокола, пёстра куропать велят щеглу щёголеву, да щёголю-гóголю, позвать сыча. Те к ему. А он в своём сычёвьем гнезде с малыми ребятами-сычáтами — сычúт, сипúт. Глазами хлопаéт, что-то лóпает. Не то краденое, а так: на летý гляденое.

— Сычь пристав, на глаз быстрый! .. — сказывают щегол да гоголь: — Мы тебя с твоей хорóмины не гоним. Да вот сúзы орлы велели тебя искать!

Летал сычь летал, чуть было головы не сломал. Нашёл ворону в поле, на огороде, на вороньем пу́гале.

Говорит ей торо́пко:

— Не будь ро́бкой, лети за мной. Тебя сизы орлы судят, головомо́йка будет!

Поворотился сыч пристав бы́стро, откуда и прово́рство взялось. Явился во ца́рски ста́вки. Боится, как-бы не дали отста́вки. А за ним ворона.

Ворона прилетает близко, кланяется низко. Говорит неспеси́во, эдак учти́во-ласково:

— Ваше благородие, орлино отро́дье, соколье разли́чество, пёстра куропа́тья знать! Пошто вы меня требоваете, по како́ тако́ дело? Я вот ту́тотка уселась на вашем мусоре! .. Вы штой-то тут налу́скали с вашими замо́рышами? А что мне сказывать? Мои детки-воронятки, дома-то си́дни, не ели три́дни! Кто за них в ответе? Они тож отца-матери дети!

— Да ты вот, — говорят — кукушье гнездо разорила, пять рублей денег украла. Да вот ишто́ хрисьян зори́шь!

— Я этим дела́м не причи́на! Кукует кукушка на свою же голову, что у неё гнезда век не бывало, прокукова́ла. Да вот когда покойник на приме́те, кукует она ему про долголе́тье. А другого её кукова́нья никто никогда и не слы́хивал. А про мужиков надыть сказать-знать, что они долгопу́ты-пьяницы. А бродяжат странницы — по богомолью, за них Богу молятся. Думают

может какой угомонится. Мужики сидят на печи, трут кирпичи. Маются — на баб лаются. А пойдут по базару — ни хлеба, ни товару, купить не на что. И опять, от лени это все!

— Ты што-то бо́льно разговори́лась! — сказывают ей: — А пошто птенцов зоришь?

— Да кукушка-то . . . Она где их побросала? Она их видала? Летает от яра к яру, мутна с уга́ру — в исто́ме. Не помнит где и несла́сь!

Осерча́ли си́зы орлы, белы́ сокола, пёстра куропатья знать. Велят сычу́ опять:

— Сыч пристав, на глаз быстрый! Ищи-дава́й воронье становище, обы́щивай!

Летал, летал сыч от е́ли к е́ли, две недели. В тайге корявой за халявой — тут и дом её. Кровать тесо́ва, пери́на пухо́ва. В головах пять рублей денег, в ногах два анбара хлеба. Вот тут и рассуди́.

— Ворона Карповна, где ты столь денег нако́пила? — спрашивают.

—Де́нежку по де́нежки копи́ла, да и накопила!

— Где ты, Ворона Карповна, эстолько хлеба взяла?

— Зёрнышко по зёрнышку сбира́ла, вот и насбира́ла!

Взяли Ворону Карповну, в кандалы́ заковали, да на Соколи́ный Остров, — Сахалин, — и сослали, на ка́торгу. И стала Ворона Карповна ка́торжной. Так вы-

шло: брала Карпова-то воро́на, разбо́йна порода, Ворона Карповна, хлеб не аржано́й, пшинишный, лакомство мужи́чье. А деньги-краденые — были орлёные, государевы!

— o —

Куран—Петька

— Хорошо петуху петь, да только на своём двору, — начал Михеич сказку про Кура́н-Петьку.

Ку́рочка, погребу́шечка,
Да гребла́ся она на зава́линке.
Ещё выгребла позолот перстень,
Позолот перстень о трёх ставочках:
Одну Марье, другую Дарье,
Третью — Та́нюшке.
Вышли девки на двор,
Посадили ку́ру на забо́р.
Ку́ра горло дерёт,
Петухом поёт.
Дед на печи просну́лся,
Проснулся, потяну́лся,
Говорит: — Петухи пропе́ли,
Пора с постели! . .

В одном ови́не, на курошéсти, жил куран-Петька. Спокойно, счастливо, сыт был. Воевал себе с ку́рами. А весело станет, заберётся на овин и кукурéку запоёт — песнь свою. Даалёко слыхать!

Так и жил себе, поживал, беды не ждал. Да беда-то ходит не жда́нная, не зва́нная. Без дорог ходит, без у́держу. Она не разбира́т человек ли, тварь ли. Вот и забрела слепая, немину́чая, к Петьке, — пёхом, с посошком, с кото́мочкой, — как снег на голову.

Раз перескочи́л он в суседский двор. Видно сусе́дских куре́й надумал порадовать. Или сусе́дский о́вин повыше был, покраше — приглянулся. Захлопал крыльями вытянул шею. Но не успел и рта раскрыть — налетели на него сусе́дские петухи, грубияны завсегдашние. Ко́гти во́стры носы́ желе́зны.

Шевельну́л Петька мозгами своими петуши́ными, — не мудрая штука, — а всё же в беде помогает:

— Что будет? Драться — всех не одоле́ешь. Ругаться — ещё зле́е станут сусёдские петухи. Просить да кланяться — пока напро́сишься, да накла́няешься, голову раздо́лбят, искалечат. А молчать да думать . . . Думают-то инде́йски петухи только, да кита́йски императоры. Один индю́к, вот, думал-думал, как-то, да издо́х. Ноги вы́ручат! — смекнул, вдруг, Петька.

И сбежал Петька, своим и сусе́дским ку́рам на́смех.

Да сбежал-то весь ощи́панный! Забился в самый угол ови́на, не дышет, не слышет, — ровно мёртвый лежит, — и размышляет:

— Вишь, дело-то какое: еле ноги унёс. Думалось, что и косте́й не соберу, ан собрал. Петь бы мне на своем

двору́. Кукуре́кнул бы вот теперь, да голова растяпана, мотну́ть нечем.

Да вот стыд ещё, молва всенаро́дная пойдёт! Хоть опять со двора беги́!

Что ты скажешь? Я сам не люблю эдаких-то! Можно жить больному, можно жить глупому. Но ощи́панным слыть — лучше в воду броситься.

У Кура́на-Петьки вся красота в перьях. А тут, — на́кося, — лы́сый!..

— о —

Собачьи обутки

Ходи́ла пора́не собака в обу́тках.

Бегала раз по ела́нке. Дорога-то собачья нето́ренная, неё́зженная, — попала в прота́линку, промочила обу́тки. Что делать? Шла-шла, глядь: крутое крути́ще, ста́ново станови́ще. А под тем, под крути́щем, ско́шенное поле. А на том по́ле ку́ча се́на. Копёнкой назвать велика, сто́гом — мала́. Взяла да положила на неё обу́тки — пусть, мол, подсохнут. А сама отлучилась по своему собачьему делу. А может к хозяину, хлеб хвостом выкола́чивать.

Бежал на уго́нках, теми местами, из куста в куст, от беды́ к беде, зайка- косо́й горемыка. Прыть то ры́сья, да душа за́ячья — за версту впереди трепыха́ется. Запну́лся, глядь: собачьи обу́тки.

Долго ли думать, — заячье ли это дело, — взял да и надел.Носи́ не потеряй! Дело-то дорожное, да может, мол, и жизнь переме́нится. Хоть счастье собачье незави́дное, а всё лучьше заячьего. Вишь, обу́тки-то какие — сно́су не будет, на сто го́дов.

Прыг-скок, перекувырну́лся и пошёл ку́барем. Покатился горо́шком: обно́вку пробовать. Через што пришлось — с прота́линки на проталинку, с ела́нки на ела́нку. С бугорка на бугоро́к, из ложка́ в ложо́к, — и!-и! — держи! Докатился до тайги-леса и как в воду ка́нул. Пропал серый! Ми́тькой звали!

Воротилась собака: туды-сюды, всё ошарила. Нет обутков, как не бывало. Ни на сене, ни под сеном. Будто корова языком слизнула. Чудеса! И куды-б они могли дется? Кто взял? Кой леший? Пропали, надо быть, обутки-то?

Глянула, явственный лежит от обутков след, свеженький. Принюхалась, зайцем пахнет.

— Не иначе, как серый!

Осерчала собака:

— Ах ты, такой-сякой, безхвостый. Ах ты, волчья снедь! Да эдак вы, зайцы, с нас и шубу снимете. Как я теперь без обутков?

И пошла искать.

И посейчас ищет, не пимши — не емши.

Хватит на ходу снежку и снова бежит. Спросит прохожего:

— Не видал-ли где зверя-ворища, сивого зайчища?

Передохнёт минутку и снова.

— — — —

— Не веришь? В самом деле?

Да только всё, что я говорю, всё то и есть.

Правда, что и я сроду не видывал собачьи обутки, а только старики сказывают. Верно ли, нет ли — я, брат, не знаю. Может, зря:

— Поймай, говорят, зайца, посмотри на его лапку, на заячью: в обутках. А собаки, сам знаешь, — босые ходят!

— о —

Сибирские сказки, кейские

Елкич и Арысь-Зверище

Далёко, далёко, в тайге тёмной, в дремучей, стояла ёлочка-разла́пушка.

На той, на ёлочке жили: кот Котофей, Вор-воробей, да маленький Ёлкич, ёлошный хозяин. Кот с воробьем на охоту ходили, добычей за квартиру платили, другой раз и краденой. А Ёлкич домовни́чать оставался.

Все веточки Ёлкич обметёт, под ёлкой приберёт. Обед изготовит, стол накроет, ложки-чашки разложит. А сам приговаривает:

— Это ложка кото́ва! Эта воробьёва, а эта вот, моя!

А ло́жечка-то его была лучше всех. Никому он её не давал. Ложка была не простая, точёная, ручка золочёная. На ней шишечка, зелёная ёлошная, с ма́ковку.

Вот и прослышал Арысь-Зверище, што Елкич на ёлочке один домовни́чает. Захотелось ему Елкичева мясца́ попробовать, какое оно есть. Сроду Елкичей не еда́л, думает:

— Ви́дно они вку́сны. Вроде орешков!

А кот и воробей, как на охоту уходили, крепко Елкичу нака́зывали лесенку за ними убирать, никого на ёлочку не пускать.

Убирал Елкич лесенку, убирал. Да один-то раз засуетился по хозяйству, и позабыл. Справил все дела. Обед сварил, стол накрыл. Стал ложки раскладывать. Только успел котову да воробьеву ложечку положить, взялся за свою, а по лесенке-то: скрип-скрип! А по лесенке-то: топ-топ! Да пых-пых!

Глянул Елкич, да так и а́хнул:

— Матушки мои! Арысь-Зверище ползёт. Хвостом по лесенке метёт. След воровской заметает!

Испугался Елкич, да с ёлки-то: бух! Упал, и ложку на́-земь уронил. А подымать-то некогда. Под ёлку залез, под коре́нья забился, в норку мышью. Сидит, не ворохнётся. Арысь-Зверище по ёлочке лазит: хитёр! С веточки под веточкой шарит. Глядь туда, глядь сюда — нету Елкича!

— Постой же! — думает Арысь-Зверище. — Ты сам мне скажешь, где сидишь!

Подлез Арысь-Зверище к столу. На задни лапки стал. Нюхну́л, хорошо пахнет. Стал ложки перебирать да приговаривать:

— Это ложка кото́ва! Эта воробьёва... А где-же ложка моя? Ааа! Под ёлкой валяется. Так я её возьму!

А Елкич-то из-под коре́нья, из мышкиной норки, во весь голос:

— Ай, ай! не отдам! Ложка эта моя. Не простая, точёная, ручка золочёная. А на кончике приметка: шишечка зелёненькая, ёлошная — в маковку!

А Арысь-Зверищу только этого и нужно было, чтобы Елкич свой голос подал.

Прыгнул Арысь-Зверище с ёлки. Лапищу в коренье запустил. Елкича вытащил. За спину перекинул, да домой, в своё лóгово.

Принёс Арысь-Зверище Елкича домой. Печку жарко натопил. Хочет Елкича испéч. Думает, печёный-то, пожалуй, вкуснее будет. Истопилась печка, жарко. Не приступиться. Взял Арысь-Зверище лопатку.

— Садись! —говорит Елкичу.

А Елкич-то — ничего што маленький, — был паренёк удаленький, догадливый. На лопатку-то сел, а ручки и ножки растопырил. В печку-то его и не всунуть.

— Не так сидишь! — сказывает Арысь-Зверище.

Перевернулся Елкич к печке спиной. А сам опять ручки-ножки растопырил. В печь не лезет.

— Опять не так! — сказывает Арысь-Зверище.

— Так ты, дяденька, покажи! Я по другому не умею!

— Экой ты какой, недогадливый! — рассердился Арысь-Зверище. Смахнул его лапищей с лопатки. Сам на лопатку: шась! — уселся. Клубочком свернулся. Лапищи подобрал, хвостом закрылся. Да не успел и словечка прорычать. Елкич-то его: толк! — в печку. Да ещё заслóнкой закрыл. Вышло, что на свою беду Арысь-Зверище печку топил. Сразу его спалило, как спичечку.

А Елкич домой пустился, бежит, торопится. Дома-то кот с воробьём горюют. Пришли они с охоты. А лесен-

ка-то внизу валяется, под ёлочкой. Ложки-то раскиданы. А ёлкичивой ложки нет. Только звериные следы под ёлкой остались.

Сели на веточку кот да воробей. Горюют, плачут:

— Где-то наш Елкич, где наш хозяин ёлошный!..

Кот воробью лапкой утирал слёзы. А воробей ему крылышками. Вдруг по лесенке, по ступенькам: тук, тук! Будто воробьиные носики. Поглядели, комочком Елкич катится. Громким голосом кричит:

— Вот и я! Никого теперь не боюсь. Арысь-Зверище в печке испекся. Больше не воротится тайгу пугать. Один теперь царь таёжный — Елкич!

Обрадовались кот да воробей, что Елкич жив да здоров. Что домой воротился. Соскочили они с ёлочки. Надо было ему помочь забраться. Затащили Елкича и ну его целовать. Да обнимать, да приговаривать. За макушку его ухватили. По ёлочке закружили, до самой вершинки. То-то радость была!

И по сейчас Кот-Котофей, вор Воробей, да Елкич маленький, хозяин ёлошный, на той ёлке живут. Хлеб жуют. Тайгой, вместо Арысь-Зверища, правят. Да нас с тобой, Иван Царевичей славят, в гости ждут. Я уж у них раз был. Да одному больше ходить не велено. Велели тебя звать! Пойдешь?

— о —

Жилец-Удалец

Не в некотором царстве, не в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живём, жил Жилец-Удалец. На ку́стике дворец, гли́няный крыле́ц. На печи́ двор, на колу́ забо́р. Семеро ворот и все в огород.

Ну, вот, живёт себе Жилец! Семь у него овец, восьмой жеребец. Девятая собачка Жучка. А десятая — внучка Аринушка. И жил, был волк-волчи́ще, серый звери́ще. Был он криво́й на один глаз, а видел всё зараз.

Пришел волк, об угол — толк! Под крыле́чком, загну́л хвост коле́чком. Да и запел:

— Жилец-Удалец, на кустике дворец, соло́менный крылец! На печи изба, на колу ворота! Семь у тя овец, восьмой жеребец. Девятая собачка Жучка, десятая — внучка, Аринушка. Отдай, Жилец, Аринушку! А нето́ я тебя самого съем!

Жаль стало Жильцу-Удальцу отдавать Аринушку. Вот и отдал он ове́чку-ярочку. Съел волк ярочку, будто и не ел. В ус не ду́нул, а только облизну́лся. Да плю́нул: мелка, говорит, теперь овца!

Начнём сказку с конца. Не с конца, а с начала. Пришёл опять волк, об угол — толк! Под окошко сел, да и запел:

— Жилец-Удалец! На кустике дворец, соломенный крылéц. На печи изба, на колу ворота, Семь у тя овец, восьмой жеребец. Девятая собачка Жучка, десятая — внучка Аринушка. Отдай, Жилец, Аринушку! А не то я тебя самого съем!

Жаль Жильцу-Удальцу отдавать Аринушку. Вот и отдал он вторую овечку. Овечка сама в рот прыгнула. Даже хвостúшком не взмахнýла. Только волку сказала, чтобы начинал сказку сначала. Съел волк и вторую овечку, не пожалел. А на другой день вспомнил овéчкин наказ. Пошёл, об угол — толк! У порога сел, да и начал сказку сначала:

— Жилец-Удалец, на кустике дворец, солóменный крылец, на печи изба, на колу ворота. Семь у тя овец, восьмой жеребец, девятая — собачка Жучка, десятая — внучка, Аринушка. Отдай, Жилец, Аринушку, а не то я тебя самого съем!

Жаль Жильцу-Удальцу отдавать Аринушку. Отдал он и третью овечку. Перетаскал волк всех овечек. А на восьмой день опять пришёл волк, об угол — толк! И уж в избе сел, да и запел:

— Жилец-Удалец, на кустике дворец, солóменный крылец, на печи изба, на колу ворота. Семь у тя овец, восьмой жеребец, девятая — собачка Жучка, десятая — внучка, Аринушка. Отдай, Жилец, Аринушку, а нетó я тебя самого съем!

Жаль Жильцу-Удальцу отдавать Аринушку. Отдал он жеребца. Съел волк жеребца, не подавился, а на девятый день пришёл опять волк, об угол — толк! И уж на лавку сел, да опять запел:

— Жилец-Удалец, на кустике дворец, соломенный крылец, на печи изба, на колу́ ворота. Семь у тя овец, восьмой — жеребец, девятая собачка Жучка, десятая — внучка, Аринушка. Отдай, Жилец, Аринушку, а нето́ я тебя съем!

Жаль Жильцу-Удальцу Аринушку. Отдал он собачку — Жучку. Съел волк собачку, не побре́зговал, а на десятый день опять пришёл волк. об угол — толк! Подошел к Жильцу-Удальцу вплотную, чуть за глотку не берёт, а сам поёт:

— Жилец-Удалец, на кустике дворец, соломенный крылец, на печи изба, на колу ворота. Семь у тя овец, восьмой жеребец, девятая собачка Жучка, десятая — внучка, Аринушка. Отдай, Жилец, Аринушку! Что ты меня вчера́сь собачьей пси́ной угощал! Нето́ я тебя самого съем!

Хвать Аринушку, да бежать.

Бежит волк по волчьей дорожке. Да нет, по соба́чьей — какая у волка доро́жка? Притоми́лись его ре́звы но́жки. Хоть своя но́ша и не тянет, — а где он ей ночле́га достанет? Была у собаки хата, а волк живёт не богато. Бежал-бежал волк по таёжке, видит избушка

на курьих ножках. Вспрянул волчище духом, почесал за правым ухом, да и думает:

— Ну баба-яга не большая птица, не то что девица. Баба-яга и на избе переночу́ет. Залез волк в избушку, да как га́ркнет: по моему хоте́нию, по волчьему веле́нию — марш! баба-яга на крышу. И не дыши! Забирай свои вещи! — И посмотрел на неё зловеще.

Баба-яга ни в чём ему не перечила. Знала, что волчье счастье недолговечно, распрощалась с ним серде́чно, избу ему оставила. Вот и живёт Аринушка вместе с волком в ягиной избе. Волк в лес пойдёт, ей зверей и птиц нанесёт. Она ему наварит, нажарит. Сядет он за стол, наестся до отвала. А после обеда ляжет отдыхать, перед ночным-то разбо́ем, да и скажет Аринушке:

— Аринушка, Аринушка, почеши́-ка мне спи́нушку, всю на охоте разломи́ло. Сядет Аринушка волку спину чеса́ть, а са́ма ше́рстку дергает, верёвочку вьет, да и припевает:

— Все-то люди не спят, а и звери не спят. И земля-то не спит, и вода-то не спит. Да и я-то не сплю: волчий сон стерегу́, волчью шерсть пряду.

А волк спрашивает:

— С кем это ты, Аринушка, речи ведёшь?

— Да с тобой, во́лчушко.

— А ты што-от сказываешь?

— Ничё . . . Я те песенку пою, баюкаю!

Любо волку стало, думает:

— Ишь, какая забо́тливая, видно по-сердцу пришёлся, любит, свы́клась! — Да и заснёт под песенку.

И так кажну ночь: волк спит, а Аринушка прядет и прядет. И поёт. Как ляжет волк после обеда отдыхать, заставит Аринушку себе спину чесать, убаюкает его Аринушка, да за работу.

Напряла Аринушка ниток, из ниток верёвок насучи́ла. Вот раз убаю́кала волка, да верёвкой-то и связала. Связала волка верёвкой, да из ягиной-то избы бежать. И убежала. Бежала Аринушка домой, бежала — насилу добралась.

А уж как рад был Жилец-Удалец внучке-Аринушке, так и не расскажешь. Стали они жить да поживать — ху́до забывать. И сейчас живут!

— о —

Переплюй-Дурак

Медведь и по корове съедает, да голоден бывает; кура по зерну клюёт, да сыта живёт.

Рад медведь, што от охотника удрал; счастлив и охотник, што не попался медведю.

Где медведь, там и шкура. Медведь в тайге, так и шкура в тайге. Пойди́, добудь!

Вот и надумали мужики-от, пойти по шкуру по медвежью. В охотники назва́лись, в зверовщики. В тайге никогда не быва́ли. Медведя ещё не видали. А шкуру уже запро́дали. Идут, торг веду́т, спо́рятся. Да потом вдруг, схвати́лись, хором завопи́ли. Уста́вились-от друг в дру́га. Глаза вы́пучили:

— Да где-ж это мерло́га будет, медве́жье ло́говище?

Один, которого Длинным Иваном звали, говорит: «Под буреломом!». Другой, по́просту Долговязый, человек без имени был, говорит: «Под буревалом!». Третий, Короткий Иван, не в пример прозва́нью, повёл речь дли́нную, да запу́танную: «Зна́мо, под коло́дой, либо под снегом. Не то што под снегом, а где либо-нибудь. Вот по снежку побегаем, Мишку найдём, убьём, шкуру сдерем!».

А потом сразу и бухнул:

— Да должно́ в яме мерлога, черне́ть должна, дымиться.

А четвёртый,ниве́сть отку́да-от затесавшийся, седенький, вроде странника. Ему где-то полбока выдрали, Сидоровой Козой прозывался, как пискнет:

— В пеще́рке медведь! — А сам за других прячется, будто ему не можется, отстаёт.

Ну, пу́тались, пу́тались по тайге трущо́бой всякой. По мхам, по пням. По ко́чкам, по па́лым по листочкам. Так ни с чем и воротились. Берло́гу-от и прошли́.

Задымился над берлогой вале́жник. Сучья па́лые, листья — зашевелились, паром пошли. Шуба медвежья, теплая, дорогая, сама из логова вылезла.

— Хто, мол? Кой, мол, ле́шай ту́тока бродит? Об этаку-то по́ру?

Глуп был Мишка, молод ещё, а уж знал. Весь народ лесной — волки, лоси, лисы, за́йки, с опаской глядят на зимнюю лёжку медвежью. Обходят, уважают.

Думал-думал, Мишка, ничего не надумал. Вот и спрашивает у Медведицы:

— Скажи ты мне, родимая матушка! Хтой-то зде́сяот бродит, свет му́тит? Хто посмел мерлогой нашей путь держать?

Высунула свой нос медведица. Хватила водицы, снежку из лу́жицы. Видит: косые зайцы резвятся. Глухие тетерева́ ныряют с размаху в сугро́бы. Рысь мур-

лы́чит глаза́стая, трущо́б хозяюшка. Всё свой народ. Нюхну́ла, рылом поводи́ла. И, вот, — людей учу́яла. Хруст шагов тяжёлых, дальних. Дух ядрёный мужицкий. Надо-бы схорониться, затихнуть. А Мишке не сидится:

— Хто-от ходит?

— Известно хто, — охотники!

— А хто таки охотники?

— Люди!

Захотелось Мишке знать, каки таки люди бывают. Пошёл он бродить, по тайге колеси́ть. Косола́пить — людей глядеть.

Идёт как-то бережком. О каку́ по́ру не знаю. Видит: в воде щука. Медведь к ей:

— Здравствуй, щука! Ты што меня бои́шься?

— Зачем мне тебя бояться? Ты — медведь! — отвечает щука.

— А кого-же ты боишься?

— Кого? Рыбаков!

— А хто таки рыбаки?

— Да люди!

— А ты не могла-бы, ба́ушка-щука, со мной своего внучёнка-щучёнка послать. Людей глядеть?

— А где его взять-от? Безродная я. Есть у меня родня дальняя. Ерш Ершо́вич, сын Щетинников. Да и тот строптивый, сварливый, упористый. Да всё больше плотичку-сестричку слушается. А она рыбка резонная. Не

пойдут они на такое дело. Попроси леща, коль тот не отощал.

Пошёл медведь к лещу́. А его нет, в лещавик попал. Застрял в льняных ячеях, плещется. Далеко где-то, только слыхать. А видать? Где его увидишь? Люди взяли!

— Што такое за люди? — думает Мишка. И пошёл дальше, людей глядеть.

— Пойду, — думает, — один!

Идёт, бредёт, тайгу мнёт. Каряжины тревожит, валёжник карёжит. Никого нет. Скука.

Видит: — ёлка! Подошёл к ёлке и сказывает:

— Здравствуй, ёлка-па́лка, муто́вка, меша́лка! Что же ты меня боишься?

Отвечает ему ёлка:

— Такому дураку, куда ни поверни́, всё сук впереди́! Ничего я тебя не боюсь. Медведь ты, — што мне тебя бояться! Один, вон, медведь съел кобылу, а дровнями подавился. Ишь лежит. Дроворубы обкормили. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба. Говорили ему про Ла́рю, про Ла́рьку, про Ларину жену. Зубы ему заговорили. Да в рот оглоблю и сунули. Вот их я и боюсь — дровосеков! Им нас сечь, не жалеть плечь. Иди лучше подальше. Да только ёлочек-от не тронь, дочек моих. Не затопчи.

— А можешь ты одну со мной отпу́стить? А? Людей глядеть!

— Да они ещё не подросли. Да и они дровосеков боятся!

— А каки таки дровосеки?

— Люди! —отвечает ёлка.

Што такое за-люди? — думает Мишка. Снова пошёл, закосолапил. Людей глядеть.

Идёт, идёт. Видит — ела́нка!

— Здравствуй, ела́нка-полянка, островок зелёный! Здравствуйте, цветики, жаркие да лазо́ревые! Здравствуй, травушка-муравушка шелковая! Здравствуйте мхи, лешачки́ бархатные! Вы пошто́ меня боитесь?

— Ничего мы тебя не боимся. Ты — медведь!

— А кого же вы боитесь?

— Косарей!

— А хто таки косари-от будут?

— Люди!

— Может хто проводит меня людей глядеть? Лужа́йка-кружа́йка, айда со мной! Я и так тут закружи́лся, запу́тался!

— Проводили бы да страх берёт! — отвечают цветики.

— Может какой чертополо́х аль репе́йник со мной отпустите?

— Они с но́ровом, Упрямые, зано́зистые, домосе́ды. Не пойдут итти. Они нас берегут, сторожат. Мы людей боимся. Ты бы каку́ трын-траву́ поискал. Может она досу́жая. А мы здесь покрасу́емся!

Нечего делать, пошёл медведь дальше. Показалось ему, что ве́село отказывались цве́тики. Ещё пуще его охота взяла людей глядеть.

— Трусы́ какие, а ещё цветики! — думает Мишка. Где мне эту трын-траву искать. Она ещё худо какое натры́нькает. Пойду так, один!

Пошёл дальше и видит — го́рка! Самым лбом упёрся. И итти-от дальше некуда. И в гору лес, и под горою лес, и лесом в лес. А лес такой, что не продерёшься. Только шубу испортишь. Как тут быть?

— Ну, здравствуй го́рушка-сударушка! — говорит Мишка. — Ты што́йто меня боишься?

— Никак я тебя не боюся! — сказывает горка. — Медведь ты! Чего тебя бояться?

— А кого же ты боишься?

— Рудокопов!

— А хто таки рудокопы?

— Да люди!

— Што такое за люди? Чтоб им пусто было! — думает Мишка. И уж полез на горку. С горы-то виднее. Лезет, да поёт:

«По гора́м-гора́м
Ходит шуба да кафтан!
И козёл по гора́м,
И баран по гора́м.

А телу́шка-то резву́шка,
Растопы́ривает у́шки.
Влезу на гору́шку,
Обдеру́ телу́шку!..»

Оглянулся. И песни не допел. Глядь, — а охотник тут как тут. Нос с носом столкнулись. Не даром пословица говорится. На ловца́ и зверь бежит. А у ловца́-то и душа в пятках.

— Ты люди? — спрашивает медведь охотника.

— Люди!

— А ну, поме́ряемся силою. Посмотрю я, што такое за «люди». Хто из нас смелее будет.

— Ну, отходи! — сказывает охотник. Сам на хитрость пустился. Силой медведя не возмёшь. Смелости у него много. Глуп видно. Возьму его на хитрость! — думает охотник. Говорит-от медведю:

— Что нам дра́ться? Попробуем, кто в кого доплю́нет!

Разошлись. А потом сошлись, как перед боем петуши́ным. Опять разошлись. Это Мишку охотник моро́чит, обма́нывает, передразнивает. Медведь бочко́м, и он бочко́м. Медведь косола́пит, и он косола́пит. Медведь рылом в землю уставится и он будто в землю глядит. Поднялся Мишка, плюнул. Далёко ль уплю́нешь? А охотник — чик, трах! Пульну́л! Глаз у медведя и вылетел в заячью капу́стку. Упал-от глаз, медведю плачет:

— Зачем ты за́йчиков ел? — А охотник ещё ножо́м в бок медведя хватил.

Пустился Мишка домой. Доро́гой с ним медвежья болезнь случилась. Ничего — стерпел! В берлогу спрятался. Шепотком шепчет матери:

— Мьям, мьям! Теперь знаю, каки таки люди! Как плюнет в меня охотник, так глаз-от и вышиб. Подбежал да ещё железным языком в бок лизнул, Гляко-ся, каку́ ра́ну разнёс!

Засуетилась мать, стревожилась. — Зализывай давай! Да тихо лежи, а то-от охотники прослышат. Эх ты косолапый, дурак! Ничего ты не знаешь. Сидеть бы тебе в мерлоге под сугробом, лапу сосать, сны снить. Взялся туды́-же, с людьми тяга́ться. Когда они, — люди, — всю землю заполони́ли, заблева́ли, запога́нили. И надумал тоже с людьми-от — переплёвываться.

Эх, ты, переплю́й-дурак!

— о —

Мышья сила

«Не велика́ мышка, а зубо́к остёр!»
«Одолела нас мышья сила!»
«Живём, пока мышь головы́ не отъела!»

Жил на свете на белом, мышёнок малый.

Жил он с мышами под старым могучим кедром. Кедр премного лет стоял в дремучей-дремучей тайге. А время шло. Подрос мышонок, большой парень стал и надумал жениться.

Известно, невест по тайге хоть круд пруди́. Но хотелось мышёнку найти такую умную да красивую, чтобы нигде не было ей равной. Где же найти такую невесту? Стал он про это думать.

— Кто сильнее всех на свете, к тому и пошлю сва́тов! — порешил он. — Сам я малый, слабый. Зато́ будет у меня тесть в силе и могучести! — Вспомнил мышонок: — Выползешь бывало по заре из норки. Ждешь солнышка, радуешься. Вот выплыло оно в золотой ладье по-над голубым морем-тайгой, диво какое. Диво и есть!

Пойду искать сва́тов. Самому за себя сва́тать стыдно. Да как-то у людей и не принято. Пошлю сва́тов к

Ясному Солнышку. Солнцева дочь должно лучше всех на свете!

Пришёл к сва́там, коме́там хвостатым. Сва́ты его высмеяли:

— Иди, — сказывают, — сам! Мы по глупым делам не ходоки́. Сва́там по хлеб-соль ходить. А мы думаем кабы шею не набили за таки́-то дела-речи, да соли на хвост не насыпали. Што про тебя напоёшь-наскажешь? Какой дурак развесит уши про такого жениха?

Махнули сва́ты хвостами и были таковы́. Улетели кометы, будто их помелом смело.

— Пойду один!

Сготовился мышонок в путь. Набрал бы припасу всякого — дорога дальняя. А какой припас мы́ший? Положил бы корочку в котомочку, да нет ни того, ни другого. Вот, наточил зубок, мышка, — мол, — гложет что может. Пошёл в белый свет, к Пресветлому Солнышку, в его поднебесный дворец.

Дошёл мышонок до Солнышка и рассказал всё как есть, про своё желанье давнишнее жениться на его дочери.

— Вижу, — сказывает мышонок, — что на свете нет ничего тебе подобного. Красиво ты, и блестишь необыкновенно, и всем ты нужно. Одним словом, — Ясное ты Солнышко! И потому пришёл я к тебе взять за себя дочь твою!

А сам весь съёжился. Трясется мышонок, душа в пятках.

— Задаст, — думает, — мне сейчас Солнышко! Ишь, скажет, что надумал!

Да ещё мышонку в голову пришлось:

— Может и дочки у него никакой нет? Ведь оно одно по небу гуляет!

И зачал мышонок каяться:

— Сидеть бы мне дома. А то, вот, на тебе!..

Но улыбнулось Ясное Солнышко:

— Всё это хорошо, что ты сказываешь! Приятно слушать. Дочек у меня много, несчесть... Отдал бы за тебя какую нинаéсть звёздочку. Да беда, что я не самое сильное на свете. Есть кое-кто посильнее и поважнее меня. Ты бы к нему навéдался!

— А кто же это такой?

— Да многие! — вздохнýло Солнышко. — Неужéливо ты не знаешь? Да вот, к примеру, Тучка —она сильнее меня. Все дни будто и одинаковые, Божьи. А захочет Тучка и не будет вёдрышка. Станет передо мной, закроет от меня и всю землю. И всех людей, и всё. И тебя закроет от меня с дочкой. Что вы без меня в нóрке своей? Оба маленькие — мышка да звёздочка! Если ты взаправду хочешь породниться с тем, кто сильнее — иди к Тучке. В ей сила!

Пошёл-побрёл мышонок, каликой перехожей, к Тучке. Об óблачки, как о кóчки спотыкается.

— Ишь, насадили их тут! На нашу погибель!

Пришёл к Тучке, думал: добрался таки́!.. Да не добрался. Куды́ тут, в таком кочка́рнике? Тучка сама на него нагрянула. Навалилась, спрашивает его, а сама хмурится:

— Ты что? За чем, постре́л?

— Да уж какой я пострел? Вишь, еле бреду. А ты уж не обижайся. Пришёл я взять за себя твою дочку. Мне вишь ли, в невесты нужна девушка са́мого что ни-наесть сильного на свете. Был я у Солнышка, потому што думалось, пора́не, что нет его сильнее. А Ясно-то Солнышко сказывает, что сильнее всех ты будто, Се́рая Тучка. Правда ли это?

— Правда эта, наполовину правда: солнцева правда. Отку́дова у меня дочки? Разве облачки? Да и те побродяжки! Где мне, старой, за ними угнаться. Послала бы за ними своего сына Грома, а он в отлу́чке. Был бы Гром дома, что-ж — велела-б ему нагна́ть о́блачек. Выбирай, какое приглянется, женись! Живи с ним в своёй норке. А надо тебе знать, что я не сильнее всех на свете. Ступай лучше к Ветру, к Си́верке. Он посильнее меня будет. Ему только дунуть и понесёт он и меня, и тебя. Кого хочет, куды́ захочет. Может и по желанью что исполнит, как случится. Какой на него стих нападёт. Вот я тащусь, и не знаю куды тащусь. Мне надо на по́лдень, мужики для нивы дождя у Бога молят. А он несёт меня на по́лночь. Да ещё бара́шков, облачки, по всему не-

бу разогнал. Пойди, собери их!.. А может ты в пастухи ко мне наймёсся?

—Куды тут наниматься, колобро́дить с ними. Оне́ и так мне все бока пообтёрли. Пойду лучше к Ветру!

Пошёл тогда мышонок к Ветру.

—Что, — думает, — за дико́вина такая? Пастух небесный, а такой дикой?

Надулся Си́верко, а потом засквозил, шква́лом пошёл. Подхватил мышонка, звериными голосами зарычал. А после круговой за́вертью пустился, сме́рчем-ви́хорем, и мышонка закружил. Вьётся с ним то орлом, то соколом, то мелкой пта́шечкой. А потом перекувыркну́лся и пёстрым ковром расстелился, зы́бью игри́вой — травкой, цветочками забавляется. Сверчком стреко́чет, пчёлкой жужжи́т:

— Отдохни! Замаялся поди? По што ко мне пожаловал. По каки таки дела?

— Зна́мо зама́ялся! — отвечает мышонок. — Да куды мне тут отдыхать? Жениться хочу. Породниться с самым сильным. Был я у Ясного Солнышка. Думалось, что оно сильнее всех. Всех обогревает, всем светит. А Солнышко послало меня к Серой Тучке. Потащи́лся к ней, а... а она к тебе — к Во́льному Ветру посылает. А теперь думаю, что ты уж меня никуда не пошлешь. При себе оставишь!

Поглянулся мышонку волный, кучерявый, вихра́стый Си́верко.

— Какой он могучий, да какой живой! А шутник какой. Шу́тит молодо, да так-то весело. Наверно и дочка такая же — вся в него?

— Мале́нько ты ошибся, парень! — Сказывает Ветер-Си́верко. — Я вольный ветер, холостой! Нету у меня никакой дочки. Всего и семьи у меня, что мать одна. Да и та, — откровенно сказать, — старая ведьма. Вьюгой-Пургой прозывается. Проводил бы тебя к ней да боюсь. Нас с тобой на цепь поса́дит, за медведей примет. С перепу́гу не узнает, что свои. Да и живёт она на ледяной горе. За студёным глухомо́рьем, далёко. Если ищешь самого могучего на свете, то знай, что не я самый могучий. Дело твое просто. Только слушай! В тайге стоит кедр. Моя матушка часто хаживала к нему в гости. По головке гладила. И не мало его товарищей полегло в мать-сыру землю от её ласки. Лежат колодами. А которые уж сгнили. Да и я дул на него, почита́й, лет со ста. Всё повали́ть хотел. Да не тут-то было. Крепок старик. Только поскрипывает в непогоды, покрякивает. Да, сказывают, под ним теперь мыши завелися... Не знаю то́лком, давно ли они стали норы там рыть. Только теперь, вот, кедр едва-едва держится, видно скоро сам пова́лится на́-земь. Вот куды итти-то тебе, и итти недалёко. Иди к мышам. Оне вишь сильнее меня. Там и женись. Да си́днем не сиди́, а дело делай. И чтобы от тебя вольным ветром пахло. А от хозяки твоёй ды́мом

очага́. Забудешь мой завет и в но́рке найду. Как бы ты ни зака́пывался!

Пошёл мышонок к кедру. Видит свою же норку... Вишь, — домой пришел!

— Неужели мы взаправду всех сильнее? — подумал мышонок. — Да в чем же наша сила? Не в том ли, что много нас. Что живём мы миром, дружно. Что ближе к матери — сырой-земле, от которой пошло всё живое. От которой вся сила у всякой твари. А если мы свой мышиный труд приложим к чему, задумаем одну мышью думу, тогда и небу жарко станет!

Так и остался мышонок жить в своёй норе.

— Берегись и ты, Ясное Солнышко! Даром к тебе на поклон ходил, время терял!

И погрозил вверх своим мышиным кулачёнком. Да одумался:

— Не ходил бы в кругосве́т, не научился-б, не надоу́мился!

Поблагодарить их надо.

Спасибо тебе, Ясное Солнышко! И тебе, Серая Тучка! И тебе, Ветер Вольный!

— о —

Сибирская сказка об Иване Царевиче и пере Жар-птицы

Зачинáтся сказка — елова подмазка: от сӥвки, от бýрки, от вéщей каýрки. У глухоморья сибирского, у стана богатырского, на льду киянском, у озера Кáнского, стоит зелёна лӥствяжина — золоты мáковки. Стоит небо подпирáт. На ёй в зиму-зӥмску сполохи играют. По этой по лесӥне ходит кот — баю́н говорýн. Песни поёт, — сон берёт. Голосом потянет и мертвый встанет. Это не сказка, а ешшó прӥсказка. Сказка будет завтра, после обеда, поевши мягкого хлеба. А ещё поедӥм пирога, да потянем быкá за рогá.

В некотором был царстве, в некотором государстве. На ровном месте, что боронé. От других царств в стороне, как кулӥк на отлёте. на тýндре-болоте, живáл-бывáл царь, волнёй человек. По плечо руки в золоте, по живот ноги в серебре. На лбу крáсно солнце, на затылке светел месяц, по ушáх часты звёздочки, — что серёжки. А голова, слышь, глӥнянна. Эвоно царство-то было большó-пребольшó. Сколь лавок кладовых, да анбаров торговых. Мышӥны заводы, да сладки воды.

Больша была у царя мошна́, да в конец изошла́. Один остался хала́т на семь пала́т, семь коров на семьсот дворов.

Выйдет этто царь в воскрёсный день на крылечко, да и закричит:

— Эй, наро́ды, у меня каково́ в царстве весело! Все реву́т, а плясать некому! А народу-то у него было много: мать Мала́нья, да сестра без прозва́нья, жена, да дети, да прочее. Да люди рабочи, купцы́ да бояре, остяки́ да тата́ре, козёл да баран. Да сын Иван, — Царевич. Да такой красавец, такой умник, что ни вздумать, ни взгада́ть, ни пером написать, только в сказке сказать. Какой ты вот, — ни в каком другом царстве такого нет, не сы́щеш. Става́т царь об одну пору ранёхонько, соболи́ным одеяльцем бел-пухо́ву постель застила́т, самовар ведёрный греть. Печку затоплят, в избе подмета́т, ключевой водой умыва́тца, рукавом утира́тца. Надева́т своё цветно́ платье пара́тное, шубу горностаеву, корону царску. Садится на решёщат стул, берёт каку́-то книжку волшебну. Зрит-гляди́т гума́жный лист. Чита́т-гада́т, умом раскидыват. Запала ему мысль эдака царска, говорит сыну-то, Иванушке:

— И што мне-ко грезится: жил я, по́жил. Почита́й свой век про́жил. Остаре́ю вот, и тебе на царстве сидеть. Вырос ты до во́зрасту, сынок мой царевич. Надо тебе, поке́дова я живой, прогуляться — ума набраться. Людей посмотреть, себя показать — до́бра молодца. Иди

куда́-нись, уму учиться, бел свет глядеть. Вот, перво́-на́-перво, ступай-давай, говорит, незна́мо где, неведомо куды. Достань перо жар-птицы и мне представь. А ты, мать, — говорит царь царице, — калачей напеки, да намеси́ подоро́жничков!

А царевич отвеча́т:

— Мне-ка подоро́жнички ваши ни к чему! Пондра́вится, так и так пойду, а не пондра́вится, так и силко́м не вы́пихнете!

Да потом раскинул, ум в голову взял:

— Как отца ослу́шаться, обидеть? Делать не́че: видно надо по вольному свету попыта́ть, птицу поискать. Где-то ни-на-есть она во́дится. Самому́ занятно. Дивная птица, об ней в книжке одной читывал. Двум смертям не бывать одной не миновать. Мне-ка смерть везде одна: — придёт и дома найдёт. Ее и на кривой оглóбле не объедешь!

На похо́д итти — не вино кури́ть. Долго молодец не стал снаряжаться. А тут набежали бабки, набежали няньки — о́хи да а́хи, слёзы да плачь! Мать-царица ишшо подоро́жных ша́нюшек не испекла, а он краю́ху хлеба засу́нул за пазуху, натянул сапоги на бо́су-но́гу. Ку́нью шубейку на одно плечо, собо́лью шапочку на одно ухо. Вышел из царских палат белока́менных, из высо́ка терема косящата. И пошёл куды глаза глядят: в ино́ государство, в чужи незна́мы земли.

Шёл, шёл — сколь время? — Близко ли, далёко ли, низко ли, высоко ли? Тайгами тёмными, несусветными, степями дикими бескрайними. День идёт ко вечеру, солнышко ка́тится на запад. День прошёл, другой идёт: — скоро сказываётся, долго де́ется. — Ушёл царевич дале́че, не знать куды. Забрёл в тако место, что ни конному, ни пешему, ни водяно́му, ни лешему. Тайга така́, что следу не видать. Зверь не проры́скивал, птица не пролётывала — чащо́ба. Только одни ме́тки на леси́нах попадаются. Это таёжный хозяин Миха́йло Пота́пыч от не́ча делать понацара́пал. Знаки даёт: — кто, мол, со мной хочет потяга́ться, силой поме́ряться — повы́ше заруби́. А их-то, — меток, — и с коня не достать!

Закручинился царевич, запечалился:

— Какой я поеди́нщик!

Вдруг слышит треск-гром. — Пе́нья-коре́нья ломаются, идёт кто-то. Глядь, отку́ль-то, навстре́чь — перед ним: старый старичо́к, стоит, ма́хонький. Се́денький — сам с ноготок, борода с локоток. — Сла́бенькой, будто на ла́дан дышет, посошко́м подпира́тца. А коло него и лисица, и куница, как стадо: — и волки, и россома́хи, и лоси́, и рога́то, и мохна́то. Кричат, зы́чат во все головы.

Испужа́лся царевич. А тот к ему подходит и уча́л говорить эдако ласково:

— Что ты, добрый молодец, не весел? Что так печален, что бу́йну голову повесил, поту́пя держишь очи

ясные? Ты, — грит, — как суды́ забрёл, по каки таки дела. Далёко ли пра́вишься, чей ты будешь, да откéдова путь держишь? Какой земли, какой во́тчины? Какого ты роду, ко́я племени, ко́его отца, ко̀ей матери? Да как тебя зовут именем, да величают по изо̀тчеству?

— Да я, дедушка, с царёва царства, с да́льня государства. Отцов-материн сын, Иван-Царевич прозываюсь. Рассказал бы всё тебе по порядку, да твоего ста́да боюся!

— А ты не бойся! — старичек отсказывает. — Моё стадо ове́тно. Ты погла́дь их — они ти́хи станут!

Погладил Иван зверей, они и приумолкли, приудро́гли. Стали смирные.

Рассказал он тогда старичку всё, как с его отцом то было, что царь-от ему повеле́л:

— Ты, — грит, — не слыхивал ли дедушка, про таки́ чудеса, про жар-пти́цев эдаких? Таку дивну дичь тебе, Бо́гов старичек, в тайге стречать не доводи́лось?

— И слыхал, и видал, — сказывает ему старичёк. — Да только трудное это дело, ди́тятко, царевич пи́санный! Нонь-то не то што жар-птицы, а и кулики́ ре́дки стали: поизвела́сь дичь-от. Да и снасть надо: туго́й лук шелко́вый, стрелу́ перёную. Да и не того золота́ орла расе́йского, а орла сизо́-камча́тского. Голыми руками дичь-от не има́ется. Да уж, — ежли на то пошло́ — поищи, попробуй. Вот только тут не заплута́лся бы, не пропал занапрасно. Здесь столь и дичи, что баба-яга

живёт: лягу́х жрёт, цынгу́ разводит. Нать ее ягиную силу знать. Тебе тут самому́, пустыми-то руками, с бедой не справиться. Что тебе надо? — Денег, а́ли силы, а́ли што?

— Спасибо тебе, дедушка, на добром слове! Ничего мне́-ко не на́добно!

— Ну тада́ возьми ка-сь, Иванушка, мой посошёк! Он те, как чё на́до — поможет. Ходи, не ходи, роби́ не роби́, спи не спи, а всё его при себе держи. Надумаешь домой итти — воротиться: дорогу укажет. Ты идь за ним помалёньку, нигде не привёртывай: — он домой и ты домой идь. Экось, вот, спойди́! А сам пригова́ривай:

Ве́тры, ветеро́чки
Несите мои лапоточки
Стёжки—дорожки,
Несите мои ножки!

Так, мол, Мико́ла Таёжный, Ду́пленской, наказывал!

Ну поговорили они ещё. Про то, про другое поба́яли. Поблагодарил Иван Мико́лу-старичка как следует. Распростился с ним по хорошему, взял посошёк чудесный, в ноги поклонился. А сам да́ле пошёл, своим путём-дорогой. Шёл, шёл: — много ли, мало ли? — День да ночь — сутки прочь. Время идёт! С неде́лю время проходит, и с месяц поры́. Скоро сказка сказывается, а он уж год

в дороге. Тайгами дремýчими, песками сыпýчими, горами высокими: сколь уж царств испрошёл.

Солнце печёт, частым дóждичком сечёт. Денег ни грошá, хлеба ни кускá. Ись охóта, а ись то нечего: — хучь мóхом питáйся. Одёжки изорвались, обýтки ободрáлись. Пристúгли его тёмные ночи, совсем бы ему пропáсть, да вышел он о ту пóру ночную на тропúнку. Идёт: — видит угóрышек, за угóрышком речка. Так, небольшá — можно напиться. Курице по колени будет. А позарéчьем елáнка, лúстьем вся запáла. Посерéдь той елáнки небольшá фатéрка: избушка об одном окошке. На куричьей ножке, на собачьей голяшке. Берестóй крыта, грýздем подпёрта. Туды́-сюды́ поворáчиватца, в дверь не пушшáт.

Приступúлся Иван к избушке. Походил-походил, заглянул: пусто, нет никого:

— Видно никто в нёй не живёт?

На всякий случай всё же окликнул: Стук! Стук!

— Избушка, избушка, кто в тебе живёт? Стань ко мне пéредом, а к тайге зáдом. Отпирáй-ко-ся! Мнé-ка не векековáть, только ночь ночевáть. Кто меня напóит-накóрмит и от тёмной ночи укроет? Если крáсная девица — будешь мне сестрица. Если дóбрый молодец, выходú — братцем будёшь. Если старая старушка, — хучь и баба-яга, — будешь матушкой!

Стучал-кричал: — ни гу-гу! Никто не отвечáт, будто вы́мерло — никого нет.

Постоял Иван против избушки, призаду́мался:

— Зайти страшно, а не зайти того хуже! Все же кака́ ни-на-есть приста́нище! Что делать?

Да не долго думаючи, что там двери-то искать, скочи́л: — раз! и в избушку! Туды́-сюды́ глянул, походил. И пити́я, и е́дева, и всего, всякой всячины. Пироги морковны, творо́жны ша́нюжки, калачи́ бел-крупи́чаты Ел, ел Иван-царевич, сколь хотел. Тово́-сево́, таковò сы́тно поел. Попи́л квасу, помолился Спа́су, да и думает:

— Дай-кось, мол, отдохну: мышка и та отдыхает. Теперь мне пол-горя! Дверцу припёр, огонёк погаси́л. Все щелочки крестом закрестил, чем попало укрылся, да крепким сном и уснул. Спит, что порог шумит, храпит, что орёл летит.

Обночева́лся на чём пришлось: — ночле́гу то дорожны люди с собой не носят.

Вот у́тресь, раны́м-ра́но, — а и зо́рька в небе не занима́лась, — просыпа́тся Иван: не тайга-же шумит, не гроза идёт: — избушка шата́тся. Поды́нулся выходи́ть: свет изумрудный, ниотку́ль возьми́сь, по ела́нке разли́лся. Словно сполохи взвился по-поднебесью. Жар-птицы порха́ют, несметно множество. Со всего свету слетелись, зашумели. Крыльями машут, что звёзды паду́чи искры мечут, над тайгой в горелки играют. Разными голосами поют, росой умываются, лапками ути-

раются. Моро́шку пощипывают, орешки пощёлкивают. Жар от них пы́шет — будто земля горит.

Смотрит царевич, ди́ву ди́вному удивлятця. — Не знат, что такó: — будто сон видит. Руками заплескал:

— Эк, их сколько, что гороху!

Подлетела одна жар-птица к избушке. То́ркатца, хвостом самоцветным окно закрыла. Что сноп золотой, хвост-от.

Иван-царевич было затаился. А потом спомнил зачем послан: — схватился, да как крикнет, не стерпел:

— Эх, вы жар-птицы, голубицы, золоты перышки!

Да в окно! Изловчился, хвать похвать — пых! Искры жёмчугом так и посыпались. Взвилась птица и была такова. Лишь одно перо срони́ла — в руке у молодца осталось. А ему того только и надо — выскочил из избушки, сон как рукой сняло:

— Ну, — думат,— теперь можно и домой пробираться, ко свому́ двору!

Идёт молодец домой, перо несёт — только пыль кури́т. Горит перо камнем самоцветным, ясным месяцем по-над тайгой светит. Старичков посошёк домой в царство путь дорогу ка́жет.

Воротился Иван-Царевич в столицу белокаменну. В отца-матери высок терем створчатый, к окошечкам косявчатым, к крестам-маковкам золочённым. Царю в утеху, себе на славу-честь, людям государевым на

удивление: будто тут был, никуда не ходил.

Все эдак сра́довались.

Пошла стряпня, рукава стрехня! Кто про что, а я за па́зушку: в столице-то вишь, на радостях, было пирова́нье — почетны пиры́. Кто ест, кто пьёт, кто песни поёт, а кто за ухо льёт. Кто ша́нюшку. А я за пирог, да в свой уголок, к себе домой — в Сибирь нашу матушку!

Вот те и конец. В Киян-море ледяно́й дворец, а во дворце-то рыба елёц. Кто сказку сказал — тот молодец.

А кто расскажет, тому Царевич, либо Царевна приснится. И прилетит к нему Жар-Птица.

— о —

Сказки народов Сибири

Комариная казнь

(Сказка чу́кчей)

За́-морем соль по мешкам, табак по пучка́м, чай по восьму́шкам, водка по косу́шкам, денежки по шкату́лочкам.

Учуяла чу́кча, что мухи на мирика́нской стороне до́роги, комарам и цены нет, не прику́пишься, а телушки и быки дёшевы. Давай у себя комаров да мух ловить, да другой гнус всякой, всякую насекомую надоедливую. Наловили мух да комаров и отправились на ту сторону. Наменяли телушек на мушек, комаров — пятьдесят пудов, — на быков и погнали свой товар домой. Зна́мо дело и табачку, и чайку, и соли прихватили, и всего прочего. Это уж на остальной гнус променяли. Дошли до самого берега, до Бери́нгова моря. Нет ни карба́сов, ни парахо́ду, хоть в воду кидайся.

Ну, один-от из них догадлив был, взял быка за хвост, размахнулся и на сю сторону его, потом другого, третьего. Быков перемахнул всех, сколь бы́ло, табак, чай, всё прочее за па́зуху засунул, за телушек взялся. А с последней махи́ть и сам, на хвосте перелетел.

Оста́тьние чу́кчи топчутся на мирика́нском берегу. А кто бегает как угорелый. А он им кричит, перелетевший-то:

— Да вы друг дру́жку перешвы́ривайте!

А те галдят:

— Где нам перешвы́риваться. Миром жили — миром и потонем. Слыхано ли дело по одиночке гибнуть!

В круг чу́кчи стали, за руки взялись, что-то галдят опять. Что они такое: дело ли какое решали, молились ли. Кто знат? А вот, поднялся ветер. Вихрем-ве́тером взвился чуко́тский круг. Понесло его над морем в родну сторону. Летит он как большой шама́нский бубен.

Всё бы ничего́, да вот за ними комары проданные и мухи увязались. Да еще́ мирика́нский гнус всякий. Чу́кчи-то домой воротились, рады, а гнус, свой и чужой, по ту́ндре, да по тайге разлетелся.

Стрево́жился весь народ сибирский. Собрался народ к таёжному угоднику Миколе. Весь какой есть: каменная самоядь и низова́я, тундренные тунгу́сы и глухомо́рцы. Оленны оро́чёны и соба́шны, черневы́е татары и степные. Айно́сы и кури́лы с моря понаехали. Собрались чалдо́ны всяки: смолокуры, винокуры, шышкари́, бочкари́. Охотники, плотники. Уссуре́йски, зе́йски, бейски, енисейски. Собрались к Миколе, плачутся.

— Так и так: всем бы тайга хороша была, да гнус одолел. Слобони́ нас от него!

Услышал таёжников Микола, скорый помошник. Засуетился эдак. Живой старичёк был:

— Айда́ со мной!.. Ну, где вам!.. Я сам!

Схватился со ски́тской стены, из иконы вы́шагнул. Сам-то он ничего, скоро вылез. А вот ноги труднее было вытаскивать. Были они в стене ски́тской, по-ни́з иконы. Ими-то ски́т и держался. Ну, раз перекрестясь, одолел он это дело. Как-бы соизволение Божие получил, монастырь временно покинуть. Без меня, мол, пока обойдутся, погодят. Пошёл-побежал шажком мелким, старческим. Ма́хонький был Микола. А шажком скорый был.

Быстро собрал всех комаров, мошек, слепне́й, о́водов. Сложил весь гнус в мешок. И велел, подвернувшемуся под ноги зайцу, этот гнус в речке утопить.

Зайке охота была поглядеть, что там такое, в мешке-то. Уж не капустка ли заячья, не морковка ли? Открыл зайка мешок. А один комар, будто ждал, навострил оттýдова шы́льцем хоботок, да — джиг! — мимо заячьей морда́шки. И запищал, назад в тайгу, взвился.

— Ах, ты, чтоб тебя! — скрича́л заяц.

Осерча́л, да за ним! А где его в тайге поймать, комара-от? Ищи-свищи! Мешок-от он бросил, где ни попало. А пока гонялся за беглым комаром, други-то комары да мошки, да весь гнус оста́тний — оводы да слепни... Да всех и не ускá́жешь! Они не дураки, тоже из мешка кто куды. Кто в лес, кто в мох, кто в болото.

Воротился заяц к мешку — пусто. Еле его нашёл. Место, второпях, как следует не приметил. Ушками над мешком поводил. Нюхну́л, губами посмуры́жил, пошептал что-то по заячьему. К мешку посу́нулся, прислушался, чтобы взглянуть А там только гуд комариный. Или это в тайге было, а ему почудилось. В мешке ни комарика-сударика, ни мушки-резвушки. Ни слепня-простака, ни овода лукавого. Ни мошки, ни блошки, никого. А и беглого комара не поймал!

Сел на кочку и сидит.

— Что мне-ка делать? — думат Зайка. — Какой мне ответ держать Миколе? Микола — старик горячий, строгий. Шутка ли: по такому делу даже монастырь покинул. Значит дело сурьёзное. Как мне ему на глаза показаться? Пойду утоплюсь!

А в речке-то случился нали́м-рыба. Только заяц в воду морду сунул, а он хвать его за губу. Вырвался заяц, да с перепугу — бежать. Так напужа́лся, что и по сейчас бегает. А губа у него и до сей поры раздвоенная — налим хватил. Гнус же и по сю по́ру тайгу одолевает, беглого комара прославляет.

— o —

Про шишигу

(Алтайская сказка)

Вот я те ёшше не сказку, а быва́льщину скажу. Да к слову тебе сказать: вера — дело великое. Верой от всякой беды спастися можно. Было это с одним яса́шным в ста́ры годы. Тогда ещё зде́ся большие тайги водились... Не эдакие: е́льник да бере́зник. Кедры стояли такие, что и двум медведям не облапить. Небо подпирали!

Ну вот, идёт-от самый этот яса́шный тайгой. Ночью идёт. А сам песню во всю глотку горланит. Чтоб не страшно было.

«Тайга болшо́й
Доро̀г худо́й.
Арка́ уга́
Большо̀й беда́!»

Вдруг, речушка! А через речушку мосточек. Так, жиденькой, две жердочки. Двум козлам не разойтись, боднутся. А на ём, на мосточке, шиши́га сидит. Така́

страшная, чёрная, да лохматая. С бараньими рожищами, с жабьими глазищами .С волчьими зубищами, с медвежьми ла́пищами. Сама хвостом повиливает. А хвосточек от маленькой, голый, крысиный. И урчи́т по́длая, как рысь. Будто кость гложет. Испужался яса́шный, стал своему богу, чури́лке деревянному, молиться:

«Ты́рла,
Буты́рла,
Ку́ктырла! . .»

А шиши́га ни с места.

«Ты́рла,
Буты́рла
Ку́ктырла! . .»

А та ещё люте́й на него глаза пу́чит.

— Дай! — думает яса́шный. — Я русскому Богу помолюсь, Миколе!

Да как крикнет, образи́на яса́шная, во всю-от тайгу:

— Христос Набаскрес!

Испужа́лась нечистая сила, булты́х в воду. И след простыл. Только воню́чи пузыри пошли.

Пришёл яса́шный домой. Миколе свечку поставил. А чури́лке свому́ — кочергу́!

Вот вера-то што значит!

И не́христ, конину па́лую ло́пает. А обратился к Миколе-Ба́тюшке. И услышал его наш угодник христианский.

Вера — пе́рво дело. Без ней никак нельзя.

Вера, ска́зывают-от, и гора́ми движет!

— о —

Алтай-гора

(Киргизская сказка)

Было это не в чужом царстве, а у нас, в Сибири матушке. Давненько это было, уж сколь годо́в ушло! Да я люблю старину вороти́ть...

Хорошо было в старину-то. В старину-от и мед хмельней был, и орехи хрупче, и девки ядреней!

Слыхал царь Крыпко́й от старых кирги́з, — стары-то люди на ум наводят, — в старо время, в стародавнее, гора гору родила будто. Развелось тех гор на краю степей, за рекой, за Кату́нью, видимо-невидимо. Собрал царь по ю́ртам, да по улу́сам киргизов, что ни есть почётных. Нарядил в парадные халаты и, не долго думаючи, айда́ на поход! — Алтай-Горе кланяться.

— Жизнь у нас не жизнь, а так... Го́рше го́ресті последней! Степь у нас неоглядная, дикая, ковыльная. Роди́, матушка! Не гору, хочь бугорок какой. Будет куда баранов от ветру хоронить. Может и лесочек свой заведётся — на дровишки. И речушка кака́ с бугорка побежит на безводье на наше. Пособи́ нам!

— Ладно, — говорит, — пошто́ не пособи́ть? Пособлю́! — сказывает Алтай-Гора. — Свой народ! Но только приходите через эстолько поры, эстолько время!

А время шло, не видать его было.

Погоди́ли килги́зы, значит, сколь следует. Опять пришли, опять кланяются:

— К твоей, мол, милости!

Тогда зачала Алтай-Гора шуметь, реветь. Словно с нее шкуру сдирают. Страшная сделалась, как семь зверей. Тучи по ней ходят, мо́лоньи сверкают. Страшно стало кирги́зам. Попятились, шепчут что-то. Видно молитву какую киргизскую, по сво́ему, по киргизски:

— У, как разошлась! Не гору роди́т. Ой! — не гору. Сам Шайта́н у нее в животе Шайта́на родит. Худо нам будет, ба́чка (отец) Крыпка́й! Кет! Уйде́м!

— Аллах вас храни! У нас радость будет! Алтай-Гора сейчас роди́т! — говорит Крыпка́й.

В эту пору выскочила из горы мышь и пробежала мимо. Алтай-Гора и успокоилась. Спрашивают её кирги́зы:

— Ну, как?

— А вы ещё здесь? — отвечает им Алтай-Гора. — Разве вы не видели моего роже́нья?

— Никакого твоего роже́нья не видали! — говорят кирги́зы.

— Как не видали? Ах вы, азиатцы!

— Аллах! Мы видели мышь... Это ли твоё роже́ние?

— Надыть! Видно это!

Подумали-погадали кирги́зы. Какая корысть с мы-

ши? Ни шерсти, ни молока, ни пуху-пера. Но отказать не посмели. И, поехали домой с мышью.

Приехал в свой сто́льный улу́с царь Крыпка́й, туча-тучей. Собрал опять стариков и говорит им:

— Неладно вы удумали! Дураки вы, сокур-ахмаки! (Круглые, слепые дураки).

А старики отвечают:

— Время теперь дурное, бачка Крыпка́й! Время теперь сокур-ахмак. Джуты (гололедицы) нагоняет. Русских насылает, болезни, мор . . . Вон, степь сохнет степь не кормит. Раньше гора́ горы́ рожала. А теперь — мышей . . . Время теперь такое, ба́чка: сокур ахмак!

Так и остались кирги́зы, в степи неоглядной, с мышью. Погоревали, погоревали, да делать нечего. Стали жить да быть, да го́ре забывать. Так и теперь живут, что поделаешь? Ты говоришь, сказка ли это? Да всякая сказка быль. Было это и быльём поросло!

— о —

Шаман

(Сказка эвенков)

Страна такая есть зá-морем — Кора-ладо, куда люди за счастьем ездят.

А у нас на стойбище Кулуро — эвéнки жили.

Давно это было.

Вымирать стали эвéнки.

Шамáн их, был великий шамáн, он их не покинул.

А когда вымерли эвéнки, шамáн ушёл на другое стойбище.

Шамáн стар был, много лет ему было — не сочтёшь.

Умер шамáн.

Когда умер, эвéнки шамáна схоронили.

В лесу — в гробовúще. Высоко на свáях стоял шамáн. Ветер качал гробовúще.

Осенью лебеди летели за море, в Кора-ладо.

Шамáн полетел с лебедями.

С гробовúщем на покрывáле, полетел, как на крыльях, со всем, что было.

Весной шамáн лебедей на родину — за землёй отправил.

— Когда мне пошлют землю, приду обратно! — сказал. — Молодым ставши, юношей ставши приду! — сказал.

— Людей лечить стану. Умирающих вылечу. Песни петь стану. В бубен бить стану! — сказал.

Жители стойбища не послали земли шама́ну.

— Человек умерши, что может сделать? — эве́нки сказали.

Лебеди вернулись ни с чем.

— Не послали мне земли, не надо! — шама́н сказал. — Всё равно помогать буду! — сказал.

Шама́н был — Великий шама́н!

— о —

Докимдоки

(Сказка эвенков)

Далёко-далёко, на горé, однажды, зверя я убил, — молодого олéшка. Оленýха-мать — сына звала. Зверя я обдирал и мне не жалко было.

Шёл-летел лебедь, схватил моего сына.

Один сын у меня был.

Сын крикнуть успел:

— Отец, отец!
Далёко, далёко,
Гонись, гонись
За мной!

Зверя-олéшка оставил, погнался я. За лебедем погнался, за сыном. Шёл, шёл, чум увидал. В тот чум вошёл. Там одна старуха живёт. Вижу — старая, старая. Одну головню́ раздувает.

— Ойгу! — говорит.

Очень старая, слепая. Мох из ноздрей вырос. Из уха кедр вырос.

Старуху спросил:

— Лебедя, схватившего ребёнка, не видáли ли?

— Сынок, сынок! Лебедь давно прошёл, держал ребёнка. Я тогда молодая была. Видела, куда он прошёл.

Сынок, сынок! Иди по дороге его. По дороге его иди!

Тогда я по дороге его шёл, шёл. Опять чум увидел. Вошёл в чум. Старик живёт старый. Старый старик живёт. Одну головню раздувает. Мох из ноздрей вырос. Из уха берёзки выросли.

— Ойгу! — говорит.

Старика спросил:

— Дедушка, дедушка! Не видал лебедя? Ребёнка не видал ли?

— Прошёл лебедь. Пронёс ребенка. Молодой тогда я был! — старик сказал. — Здесь шёл. В дымник слёзы падали. Сынок, сынок! Далёко, далёко тебе лебедя гнать, нагонять! — старик мне сказал.

Гнал, отстал. До моря дошёл, нагонял. Только у моря ребёнка отнял. Говорил тогда лебедю:

— Птица ты вольная! Зачем сына моего заневолила?

— Тебя испытать хотел! Как сына ты любишь? На, возьми сына! А тебе олёшка жаль было? Слыхал, как оленýха-мать сына звалá? А ты её пожалел? — лебедь мне в укор сказал.

— о —

Охотник-Уянган

(Сказка эвенков)

Эвенки Пэрэден ушел морду́-ловушку ставить.

Морду сделавши, у морды сидел.

Уянган проходивши, выстрелил.

Пэрэнден испугался. Упал в морду.

Уянган и не заметил.

Идет, оленя встретил:

— Что ешь? — спросил.

— Мох, траву, грибы ем! — олень сказал.

— От рождения расти, пасись. Большой расти! — пошел дальше.

Уянган идет, медведя встретил.

— Что ешь?

— Лосей ем, мышей ем, муравьев ем!

Уянган ничего не сказал. Пошел дальше. Встретил волка:

— Что ешь?

— Ем оленьчиков, людишек, собак!

Ничего не сказал Уянган. Пошел дальше. Встретил куропатку.

— Что ешь?

— Тали́нки ем, ягоды ем! —

— От рождения расти, летай! —

Ушел Уянган. Человека пошел искать:

— Что ешь?

— Хлеб ем!

— От рождения расти. Обрабатывай землю. Хлеба сей. Корми весь свет. Хвала тебе! — Уяган сказал.

Уянган долго еще ходил. Целый земной круг сделал.

Снова эвэнка Пэрэдена увидал, сказал:

— Я тебе помогу! Вылазь!

Кто другим ловушки ставит, сам в них попадает.

Так сказал Уянган и вытащил эвенка Пэрэдена.

— о —

Глухарь и лебедь

(Сказка эвенков)

Однажды зима была лютая.

От стужи чуть ли не все птицы померзли.

Остался только один глухарь. Да и тот, о другую осень, увидав лебедей, на юг отлетающих, начал плакать. Проситься с ними в теплые страны лететь.

Говорит лебедям:

— Возьмите меня, белые лебеди, в теплые страны! —

Отвечают лебеди:

— Отстанешь!

— Нет, не отстану!

— Хорошо! — отвечает одна лебедушка: — На всякий случай, привяжу тебя на веревочку. Согласен? —

— Согласен!

Лебедушка на шею глухарю веревочку накинула. Концы взяла в свой клюв. И двинулись!

Сперва глухарь за лебедушкой держался. Потом стал отставать.

Из сил выбился. Не мог лететь.

Лебедушка еле его дотащила до первой таёжки.

Ему говорит:

— Вот что, глухарь! Здесь на зиму оставайся. Если мы, птицы, все улетим, что-же люди — эвенки будут есть зимою?

Глухарь пуще прежнего заплакал:

— Нет не останусь!

Лебедушка ему говорит:

— Здесь ты холода боишься. Там от жары умрешь!

Лебедушка долго глухаря уговаривала:

— Я тебе на память, к крыльям, беленькие перья подарю. Только останься!

Лебедушка с глухарем беленькими лебедиными перьями поделилась. Чтоб только он остался.

Долго плакал глухарь.

Лебедушку послушался. На́-зиму в наших тайгах остался.

От слез у него глаза и брови покраснели. Лебедушку жалел:

— Мне то ничего! А, вот, она там, от жары помрет!

Весною к глухарю вернулась лебедушка.

— о —

Царские кудри

ЦВЕТОК САРАНКА

(Сказка эвенков)

Царь Давид был.

На гуслях играл. Псалмы пел.

В грехах каялся, плакал.

Было о чем плакать.

Грехов у него, как и у нас, эвенков, было много.

Кругом царя слезы падали. С тех слез цветы саранки выросли, царские кудри.

У нас тоже саранки завелись.

Люди эвенки саранковые луковички из земли выкапавают, едят.

Саранками питаются. Кротость царя Давида споминают.

За саранки его благодарят.

Из саранковой муки явства ладят, всякого праздника ради.

Саранкам, кудрям царским радуются.

Царя Давида псалмы, люди эвенки, поют.

— о —

Большой пельмень

(Рассказ охотника)

Бродягой, влекомый таёжными далями, я очутился однажды у подножья Забайкальских гор, в истоках Верхней Ангары. В берестяном чуме, до черна прокуренном дымом костра, приветливый старый тунгус сидел у огня. Он взглянул на меня веселыми, узенькими глазками и ничего не ответил на мой вопрос.

—Дедушка, можно обсушиться у твоего огня?

Над огнем на рогульках, висел котелок. Там, в бурой, мутной жидкости варились пельмени. Я снял ружье и сумку и молча решил: — Обсушусь!

Было так радостно придти к человеческому жилью после утомительного пути. Утром, с последней ночёвки я вышел под дождь, в бурю, которая длилась до самого вечера. Впрочем, дождь меня мало огорчил, так как я сразу же провалился в болото и был с утра мокрый по самую грудь. Я подбросил в костер дров, снял с себя одежду и стал просушиваться. — Вот спасибо твоя за дрова! — оживился тунгус: — Сушись, не бойся. Сушись надо. Тунгус не бойся: тунгус — зверь! Как зверь тайга живет, тайга питайся. Травка ест, всякий птица, рыби . . . Вишь, пельмень варю: — твоя есть бу-

дешь! В тайга не зверь бойся. Человек в тайга бойся: вот такой же белолобый, как ты!

Тунгус снял с огня котелок, слил из него воду в шипящую золу костра и вывалил мне половину содержимого прямо в полу куртки. — На, ешь! Тунгус не бойся: тунгус зверь смирный!

Невообразимо вкусными показались мне эти кусочки уток, тетеревей, оленьего сала, закатанные в колобки теста, вместе с какими-то таёжными травами.

Никогда, нигде, ничего в жизни я не поглощал с таким яростным наслаждением. — Ох-хо-хо! — радостно смеясь, приговаривал старый тунгус: — Ох-хо-хо! Какой ты! Твоя не волк ли, однако. Твоя не таёжный ли бог какой, однако, который не получай жертва, который забывая мой братья тунгус? А может, мой пельмень хорош? Может вкусная пельмень? Да вот мука мало. Нет мука. Белолобый много мука не давай: жгучий вода, говорит, бери. Жгучий вода, говорит — жидкий солнце, тепло. А солнце пьешь: все отдай, все потеряй — голова потеряй. Мука нет. А то я целый утка в тесто катай, когда мука есть, целый олень запекай. Что смеешься? Не веришь? Ешь, ешь! Вот я тебе про большой пельмень сказывай:

— Жила-была два братка, два тунгуса. Вот старший братка пошел в гости. Младший братка пошел в гости. Старший братка воротился скоро, а младший братка воротился через три года.

—Братка! — сказал он, — я в одном месте ел один пельмень три года. И такой большой была этот пельмень, что и сказать не могу!

Старший братка спросил:

—То, что ты ел три года, как большой будет?

— То, что я ел, вот какой большой будет: нас шесть человек была, шесть тунгуса. Один пельмень ела три года. Ел, ели, нет дырки. Вдруг, пять человека пропала — все провалились в пельмень, едят его. Я полезай тоже в дырка. Шла, шла и нашла камень, а на той камень наша тунгус писала:

— Отсюда ходи восемь верст, и все пельмень ешь: на девятый верста найдешь начинка! — Вот это называй большой пельмень! — весело кончил старый тунгус.

Пока мы ели и разговаривали с тунгусом, костер догорал. После плотного ужина клонило ко сну и лень было подбросить дров. Мы так и легли у потухавшего костра, закутавшись потеплее в оленьи шкуры. Когда я засыпал, я слышал как старик тунгус молился, тихо стуча по головешкам костра своим таёжным деревянным богом: он вынул его из укромного уголка чума.

Старый тунгус наказывал у огня своему богу:

— Чтобы все хорошо было,
С собаками, оленями и всем прочим.

Сохрани тайга и нас всех
От белолобых шайтанов,
Который плавай по Ангарай
На большой кричащий лодка.

Последние слова старик сказал уже совсем тихо, засыпая.

— о —

Сибирские легенды о Божьей Матери

Чудесная жнея

На Алтае, в одном старообрядческом скиту есть древняя икона Божьей Матери, потемневшая от времени, окруженная венком из колосьев. Венок ее называется «Богородицыны колосики». Эти колосики, по преданию, были сжаты самой Божьей Матерью. Зерна их имеют целебную силу. Крестьяне, от болезней, вкушают их натощак, как просвирку.

Летом, мне довелось быть в этом скиту. Когда я стал расспрашивать про венок, мне рассказали легенду о Богородице, — вот она:

Жала тетка Матрена в Медвежьей Ляге полоску в канун большого праздника. Время было уже не раннее: — к вечеру. А работы, почитай на целый день будет. — Ох! — думает она: — не поспеть дожать! А хлеб на поле оставить... Как оставить? Время знойное: упустишь день, все зерно вытечет. Да вот завтра еще праздник Христов. Но, не беда, поработаю и в праздник. Простит меня Христос — Пресвятая Богородица. Принялась баба снова за работу. Слышит, а сзади будто кто подошёл к ней и тоже стал жать. Только колос шуршит. Хочет Матрена посмотреть, да никак что-то не может глаз от серпа отвести. Вот только раз, другой, серпом взмахну-

ла, глянула: вся полоса уж и дожата. Удивилась баба: — кругом копны стоят, каждый сноп — мужику в пору. А рядом с ней стоит сама Царица Небесная, с серпом в руках:

— Помогай тебе Христос! — сказывает Богородица: — Вот мы с тобой, Матрена, всю работу сёднушну для Христова дня и справили. А завтра-то уж не трудись. Отдай этот денёк Христу-Сыну моему, восхвали его как можешь: сердцем ли, разумом ли!

Сказала Богородица эти слова и пошла над полями.

Матрена хотела было остановить Её да не может: — будто во сне с ней. А Жнея Чудесная подняла руку с серпом к небу и положила свой серп на облачко. Вон туда над рекой Белухой. И засверкал Её серп ясным месяцем.

Тут стала она отделяться от жнивья. Уплывать выше-дале, покуда не скрылась из глаз.

И долго в глубоких голубых сумерках будто сияло что. В той стороне, по-над Алтаем, куда ушла Чудесная Жнея. И стал над горой Белухой месяц — золотой серп!

Греченюшка

«Гречневая каша — мать наша.»

«Черна, мала крошка, а угодья много в ней.» (Русская пословица).

«Как скворцы из гнезда, так пора гречу сеять». (Сибирская примета).

Солнце только што подымалось большим ленивым комом из-за дальних муругих сосен, словно медведь встревоженный не в пору, когда мы с Митрием уже тряслись в тарантасе в ёмких ухабах, што в море.

По ржаному полю тихий утренник скользнул, точно пропал, будто ни откудова и взялся, а так только. А там, глядь, подале — сплеснул опять серебристой плотичкой. Или камушком-плюшкой, пущенным по-над водой озорным, чудесным, неведомым парнишкой. По овсам, во ржах, розовым месивом медвяной гречихи. В пять-шесть кружков перемахнул полоску лёгким пёрышком, нежданно канул у другого бережка, словно его и не было.

— Быть дождю, аль ветру! — заёрзал Митрий на козлах. Зашуршал соломой, словно блох ворошит.

Знаю: в соломе блох не водится. Это от мыслей досадных в голове. Всегда от них у Митрия зуд блошиный. А то сердце зачнёт саднить, ныть. А уж от него-то по всему телу вроде, как чесотка.

— Дождик пойдёт, да перестанет! — думаю я. Хочу сказать, начинаю, да не договариваю. Гляжу: по гречихе два пятна красных, больших — сходятся, расходятся. То пропадут, то снова вспыхнут алыми маками. А то вот цветы у нас есть, огоньки. Так вот: — огоньками.

И не огоньки — солнышко пало на землю. Раскололось на две половинки, большой зрелой ягодкой и играет, как в пасхальное утро. Кувыркается красным зайкой в гречихе — марает гречиху. Оттого и цвет гречишный — розовый.

— Што это, Митрий?

— Иде?

— Вон, ровно два солнышка — в гречке!

— Скажут тоже: — солнышко. Телушка это, да хвост телячий — баушка Асеиха. Завсегда она с имя воюет. Телята народ зазорный, а бабка стара — вишь не угонится.

И верно. Слыхать голос из гречи. По голосу слышу — Асеиха.

— Вот я тебя, Ирода! Вот я тебя, окаянного! Пропаду на вас нет, распроязви вас!

Давно я знаю баушку Асеиху. Насчет пропаду это она так, зря. А уж «распроязви» и вовсе для слова. В Сибири так и любя сказывают. Про́пади баушка боится — как же пропасть теляткам? Баушка добрая, худа никому не мыслит, даже мурашу. По баушкиному — всякому жить, всякой твари Бога славить. Жить и теляткам, коровами быть, телят телить. Теляткам пропасть никак нельзя. Чем-же ей жить тогда, как не телятками, живностью христьянской, от Бога положенной?

Но, вот, поровнялись.

— Здравствуй баушка! Спымать тебе што ли телушку? — вдруг оживился Митрий. И на ходу, словно его слизнуло, смахнулся с козел. Коренной скосил глазами с полуоборота. И стал, упёрся, осадил пристяжку.

— Что имать-от, сама спымается! — А и сама села на пень придорожный, умаялась вовсе.

Пока Митрий имал телушку, разговорились с баушкой.

— Ты, баушка, не огорчайся! говорю. — Телушка жизни радуется, телячей своей радостью. Гречка-то манит медвяная. Это не то что наше дело стариковское!

— Гречка? А ты человека с тварью не ровняй. Не положено твари хлеба́ Божьи тревожить, грех. Греча-от Богородицыны крупенюшка, Ею даденная. И не манной небесной пала, а на грешной земле нашей сродилась, царской дочерью прекрасной!

— Как так баушка? Ты бы рассказала!

— Что сказывать-то: учить вас ученых. У вас поди по книгам все это глаже сказано.

— Да нету этого, бабка, ни в каких книгах!

— Не читывал?

— Нет!

— Быдто?

— Правду говорю!

— Сказывай! Все равно не поверю. А рассказать расскажу:

Жили-были, на бел на Божьем свете, не в наше время, не в показанное, царь с царицею, бездетные. Долго молили они Бога, чтобы дал Он им дитятко в утешение. И вот, об одну пору, на старости лет ихной, сродилось у них детище — дочка красоты несказанной.

Долго думали они думушку, како бы имячко дать своей красавице, но никак не могли придумать. Позвали попа-батюшку. Пришёл поп-батюшка. Стал читать по святцам, как покойников поминать.

— Дарья, Марья, Полинарья! Все имена хрисьянские, ни одного царского.

Тошно стало царю с царицею от попова причитанья. Послали они его на перекрёсток, спросить у первой встречной имя, и дать его царевне.

Пошёл поп-батюшка на перекрёсток. Как девки под Крещенье гадать о своем суженом. Сидит-ждёт. Сидит день, сидит два. Сидеть бы и неделю, да день-то уж субботний. К вечерням звонить пора бы. Вдруг, о ту по-

ру, когда в колокол ударить, видит поп-батюшка идёт по дороге бродяжка — не бродяжка, странница — не странница, старушка кака-то, будто на богомолье пробирается. Путь, видать, дальний держит.

Спросил батюшка:

— Баушка, а баушка? Звать-то тебя как? Как звать-то, говори!

— Зовут меня зовуткой, — отвечает странница, — а величают уткой. Греченюшка я. Тако имя мне от Господа дадено!

Подивился поп-батюшка такому имени: — Что за имячко? — думает. — Имя, видно, яса́шное, языческое. Однако, обрадовался, что хоть какую ни на есть живую душу стретил. Поблагодарил странницу, воротился к царю с царицею, рассказал, как это вышло.

Подивились и царь с царицею имени странницы. Но царско слово твердо — царскому слову не изменили. Порешили так, как ране сказывали. Прозвали дочку Греченюшкой. Растёт Греченюшка, дочка царская, тёзка побродяжки. Растёт как в сказке сказывают: — не по дням, по часам. Царь с царицею уже и о женихах зачали подумывать. А женихи: — их не сеять! Они как мухи на мед, где прослышут. Их не звать, сами стали наведываться. Всё цари-царевичи, короли, королевичи. Один другого краше и знатнее. Быть бы счастью. Да вдруг поднялась на царя, на царство-то православное, Золота Орда буцурма́нская, злой Туга́рин-хан. Царь

созвал князьёв, графьёв, бояр именитых, купцов честных, собрал все воинство. Поднял в сполох весь мир хрисьянский. Пошел на поход — орду стречать, орду не пущать. Да не посчастливилось ему, одолела его Золотая Орда несметная. Полегла его рать во степях неоглядных, как песчинка в море канула. Изничтожилось всё царство православное. Лютым зверьём зарыскали бусурмане по пустому месту, по пепелищам, где ране красовалось царёво царство. Досталась царска дочь Гречéнюшка злому Тугáрину. А царя и в живых нет. Полёг за одно с дружиной, срамоты не выдержал.

Привёз Тугáрин Царевну в Золоту Орду, в золотой шатéр. Принуждал злой Тугáрин Гречéнюшку перейти в свою веру. Обещал ей, змий, наряд аксали́тновый. Обещал водить её в светле серебре, во чисте золоте, в золотой парче. Обещал ей хрустальну кроватушку.

Но царевна не польстилась на речи его сладкие. Даже и словечко не замолвила. Осерчал злой Тугáрин-змий. И стал он мучить Гречéнюшку неволей тяжкой, заботой великой, тягостной.

Так прошло три года. А может и тридцать три, и боле. Кто знает? Может и три века людских человеческих. Гречéнюшка всё терпела.

Об одну пору, проходит через Золоту Орду баушка-странница. Та самая, что попу-батюшке на перекрёстке стретилась. Увидала она горе и муки царевнины. Пожалела свою тёзку — Гречéнюшку. Обернула оне её в

гречневое зернышко. Положила в котомку и пошла с нею на святу Русь.

— Сослужи мне ещё одну службицу! — попросила Гречéнюшка баушку. — Как придешь ты на Святу Русь, схорони ты меня, матушка, во родну, сыру землю. Во широком-чистом поле, на приволье!

Исполнила старушка просьбу Гречéнюшкину. Схоронила грешневое зернышко посередь широкого поля, чистого приволья. А зернышко-то и пошло в рост. И выросла из него гречá о семидесяти семи зёрнах. Налетели буйны ветры с трех сторон свету Божьего. С тридцати трех морей русских, с трех киянов. На тридцать три царства, на триста тридцать три племени. И расплодилась, с той поры, гречá по всёй земле русской православной. Видно одно зёрнышко и к нам закатилось, в Сибирь. Глядь, благодать-то какая. Дух-от какой медвяной!

Помолчала баушка Асеиха и добавила:

— Старушка-то была не простая, сама Богородица, странница вечная, заботушка всесветная.

Далёко-далёко осталась теперь баушка Асеиха. Не за поворотом глухого таёжного просёлка, не в гречке цветущей. И вспомнилось мне Пятикнижие Моисеево. То место, где сказано. Как древний Бог Израильский,

манной небесной, сорок лет, в безплодной пустыне, кормил народ свой избранный.

И я благословляю издалека лазоревый простор родных лесов, степей и гор. И радуюсь гречишному чуду, баушкину чуду, Асеихиному!

— о —

Радость всех скорбящих

Начала бабка: —Ох, ох, ох! Хоть и не сказывать. Не в чужом царстве, а в нашем государстве, было, родимый времячко. О ту пору было у нас много царей, много князей, а и Бог-весть кого слушаться.

Спорились они промеж себя, дрались. И кровь христьянскую понапрасно проливали. А тут набежал злой Тугарин-змий, заполонил всю землю русскую, выстроил себе город Касимов и начал брать он красных девиц себе в услугу, обращать их в свою веру поганую и заставлять их есть пищу нечистую-маханину.

Слёз-то, слёз-то, родимый, сколь было пролито. Все православные, — а веры тогда все одной были, старой — по лесам на мещерску сторону по Сибири разбежались. Поделали там каки ни есть избёнки и жили с волками, да с медведями. Храмы-то Божьи все были разорёны. Негде было и Богу молиться.

И вот жил, да был, о ту пору неслыхану, на мещерской стороне, мужичёк добрый Антип. Жена его Марья была така красавица, что ни пером тебе писать, только в сказке сказать — Елена Прекрасная. Были Антип-от с Марьей люди набожные. Часто моливались и дал им Господь сына красоты невиданной.

Назвали они сыночка Егорьем. Рос-от Егорий не по дням а по часам. Разум-то у Егорья был не младенческий. Бывало только подойдут под окошко калики-перехожие, только зачнут:

— Как вознёсся Христос на небеси,
Расплакалась нища братия,
Расплакалися, бедные, убогие: —
Уж Ты истинный Христос, Царь Небесный!
Чем мы бедные будем питаться,
Чем одеваться, обуваться?

А уж Егорий-млад подпевал-от:

— А и возговорил Христос, да Сын Божий:
Не плачьте вы, бедные убогие!
Я дам вам гору золотую.
Я дам вам реку да медвяную!

Услышат Его старцы и отвечают:

Тут возговорила ему Матерь Божия:
— Ведь ты истинный Христос, да Царь Небесный!
Не давай Ты им горы золотые,
Не давай Ты им реки медвяные:

Сильны-богаты отнимут!
Ты дай им Свое Святое Имя:
Тебя будут поминати,
Тебя Сына величати
А и будут обуты и будут одеты!

Старцы еще не кончили, а Егорий им детским голоском подпеват:

— Тут возговорил Христос, да Царь Небесный:
Ты всех Скорбящих Радость,
Ты Матерь Моя Пречистая,
Ты умела слово сказати,
Умела слово рассудити!

Оборотится Егор к отцу, к матери. Те уж знают его: подают в окошко Христову милостыньку, старцами да младенцем вымоленую. А и пел же Егорий. Да таким голоском, что ангели на небеси радовалися.

Вот услыхал благочестивый старец Стефан Пермский об уме-разуме младенца Егорья. Выпросил его у родителей учить слову Божьему, порешил старец поставить Егория себе на смену. Поплакали, погоревали отец с матерью, помолились. Да, что делать: — отпустили Егорья в науку к апостолу-от Пермскому. Видят стар стал владыка, пожалели Пермску землю. Да и свою Ме-

щерскую сторону. Был о ту пору во граде Касимове хан-от, какой-то Брагим. Прозвал его народ — Змием. В отца сказывали, в Змея-Тугарина пошёл, так он был зол и хитёр.

Житья православным от него не было. Бывало поедет на охоту дикого зверя травить. Либо на побор за данью, либо так на потеху какую, никто не попадайся: затравит, запорит, а молодиц, да девок тащит в свой город Касимов.

Встретил-от раз он Антипа да Марью. Больно полюбилась она ему. Велел ее схватить, к себе тащить. А Антипа тут же предал смерти лютой.

Как узнал Егорий о злосчастной доле родителей, горько заплакал. Да што: горю слезами не поможешь. Стал молиться Богородице за мать за свою родную. Божья Мать услышала его молитву. Вот как подрос Егорий, надумал он пойти в Касимов-град чтобы избавить мать от злой неволи. Взял благословенье от Стефана-владыки благочестивого, пустился в путь-дороженьку, каликою.

Долго ли, коротко ли шел он, только приходит в палаты Брагимовы. Видит: стоят злые нехристи и нещадно бьют мать его бедную. Повалился Егорий самому хану в ноги его поганые, за мать просит.

Брагим, грозный хан, закипел гневом. Велел схватить его и мученьям предать. Не устрашился Егорий, возсылает мольбы свои Матери Божьей. Вот повелел

Брагим-хан пилить пилой его, рубить топором. У пилы зубья посшибалися, у топоров лезвия выбивалися.

Повелел хан варить его в смоле кипучей. Святой Егорий поверх смолы стоит. Повелел тогда хан в глубокий погреб его посадить. Тридцать лет сидел там Егорий молился Богородице. Вот об одну пору, о Покров, махнула Матерь Божия ризою своей святою. Поднялась буря страшенная, разнесла все доски кедровые, все пески зыбучие. Вышел Егорий на вольный свет. Увидел в поле — стоит оседланный конь. Возле лежит меч-кладенец, стрелы калёные, копье вострое. Скочил Егорий на коня, приуправился и поехал в леса мещерские. Встретил Егорий в лесах волков множество. Напустил их на Брагима, хана грозного. Волки те с ним не сладили и налетел, на него на Брагима, сам Егорий храбрый, сшиб с ног и заколол вострым копьем. Мать свою от злой неволи свободил.

А после того выстроил Егорий соборну церковь. Завел монастырь, захотел сам потрудиться Богу — посхимился.

Много пошло в тот монастырь православных мещеряков, пермяков, чувашей и мордвы. Повыстроились округ его келии, больницы, да богодельни для странного люда. Да посад, который и поныне прозывается Свят-Егорьевским.

Монастырь опосля забрали никониане, пошло гонение на веру, лишей татарского. Пожгли Аввакума, про-

топопа нашего, а с ним и других, хрисьян простых. И подались наши суды, за Урал-Камень, в тайгу. Колокола монастырские, да икону Свят-Егория храброго, увезли с собой. Ух как маялись с колоколами-то. Зима о ту пору была лютая, бездорожица. Падали кони, так люди сами запрягалися. Довезли до этих мест, да скит поставили — Ново-Егорьевск, — за Медвежьей Лягой.

— А свят Егорья у нас почитают, как ране почитали!

Бабка замолчала. Кто-то постучал в заиндевевшее окошко. И старческий голос запел:

— Как во граде во Касимове,
При хане было при грозном.
Породила баба три дочери,
А еще четвертого Егория храброго.
Выходил из той земли Мещерской,
Мещерской бусурманской!..

Потянулась с краюшкой жилистая бабкина рука. Стукнуло окошко, оборвался голос. Повеяло снежком, будто пригоршню жемчуга в окошко кинули. — Спаси вас Христос, Пресвятая Богородица! — раздался голос. Снежок пал на лавку и растаял, паром изошёл. Робко стелется в переднем углу, над лампадкой зелененькой, перед Матерью Божией, Радость всех скорбящих называемую.

— о —

Шаньга сибирская

«Ай, во тайге олень — золоты рога»

Было это за тридевять землями. За тридевять барабинскими степями. За тридевять нарымскими тайгами, за тридевять алтайскими горами, за тридевять незнамыми пустынями. Здеся-ка, в Сибири нашей матушке.

Заблудились под Пасху, заплута́лись тридевять охотников. Были из них и новички, а были и умелые. Ходили, ходили, путь не нашли. И попали в такое место: ни дичи, ни другой какой добычи. На полянку вышли отдохнуть, обдумать. Еду, какая была, выходя из дому, исхарчили. Всего и припасу осталось: — одна ша́ньга . . .

Вот они развели костер, чтоб обогреться, обсушиться. Эту ша́ньгу едят с молитовкой, по напёрсточку, как просвирку — крестятся. Надо, говорят, теперь к смерти готовиться.

Едят ша́ньгу, вдруг слышат — поёт кто-то:

— Ай, во тайге
олень — золоты рога.
Охотнички говорили,
поговаривали:

— Мы тебя, олень, убьём,
убьём, подстрелим.

— Ах, вы меня
не убейте, не стреляйте!
Я вам
золотыми рогами
беду разбоду.
Я к вам
на свадьбу приду,
всех гостей
развеселю.
А невест
в особину,
чтоб оне
да не плакали,
чтобы слёз своих
не ронили!

Пошёл треск по тайге, гром и молния. Глядь, а это святой Егорий едет. Сам бел, одёжа у него белая. Рукавицы белые и конь под ним бел. Бичём белым пощёлкивает, копьём белым поблёскивает. А перед ним, перед Егорием, как стадо: горностали кривоноги, чернохвосты. Косы зайцы, чёрны лисички да их сестрички, лисовки красные. Бурнастые рыси и росомахи. Волки и медведи, лоси и бурундуки. Всего и не счесть!

Испугались охотники — и, и, Боже мой! — а Егорий к ним подъезжает:

— Что, грит, заблудились? Дайте-ка мне ша́ньги отведать. Большие мастерицы сибирячки. Люблю их стряпню!

Дали-эта охотники Егорию ша́ньги, оставшуюся половинку. Он, помолившись, и стал-от её между зверьми делить. Зайцы сыты, и волки сыты, и медведи сыты. А половинка ша́ньги не уменьшается. Он и отдал её охотникам. Крошки собрал-от в ладошку. Перекрестясь, сам съел, говорит:

— Ну теперь домой айда́йте! Ша́ньга ещё вам пригодится. Да не бойтеся, хранит вас Пресвятая Богородица!

Лишь сказал-от Егорий слова эти, выходит сама Пресвятая Богородица, Скорая Помощница и Молитвенница наша, ходящая по мукам человеческим. С Ней олень — золоты рога. Над оленем крест сияет, а в кресте сам Иисус Христос.

Тут Егорий, со стадами, как бел-снег стаял.

Охотники на крест перекрестились, Христа облобызали, оленю — золоты-рога кланялись. Дали ему половину ша́ньги и сразу дома оказались, к самой Заутрене Святой.

В скорости же охотнички переженились, песню запели:

— Ай, во тайге олень — золоты-рога!

— о —

Кровь Христова

Когда сняли со святого Креста Господа нашего Иисуса Христа, Царя Небесного, рученьки Его пригвожденные от вколотых гвоздей слободили. Нози Его, гвоздием пробитые, отторгли от святого древа кипарисного. Главу Его тростию биенную, поднимали. Ребро, копием прободенное, кровь святую платом белым укрывали. Матерь Божия, Пресвятая Мария, вздымала руки своя над телом Сына своего Предвечного. единого, сердечного. Молила Милосердца, Отца нашего Всевышнего.

В пелены пеленала Сына, пелены камчатные. Слезами горючиеми плакала, убивалася. С небом, со землею плакала, с солнцем, со луною. Со светлым месяцем, со звездами ясными. Со реками всея Руси великой, со всеми её протоками. Со морями мати-земли русскоей, сибирскоей, со святыми её озёрами. Со тундрами снежными, завьюженными, со степями ковыльными, с полями полынными. Со пустынями, песками сыпучими, сожженными. Со лесами тёмными дремучими. Со тайгами, со зелёными дубравами. Со горами могучими, камением горючим.

Пресвятая Богородица, в скорби своей, к земле припала. Мати-Земля сотрясалась. Красно солнышко потемнело. Померк ясный месяц, угасли звёзды ясные. От

края до края облегли землю тучи тёмные, тучи грозные. Звери полевые и чащебные, и трущобные в норах, в логовах завыли. Позабились, куда ни есть, птицы небесные. Молнии засверкали, гром возгремел. И разодралась завеса церковная.

Воспылал бел горючь Латырь камень. И текла сквозь пелены кровь Христова. И пала та кровь — руда на камень. И прожгла та кровь Латырь камень на тыщу верст и сто саженей. И, чай, ту кровь на земле видать. Разлилась та кровь по святым церквам Телом и Кровью Христовой неупиваемой, неистощимой. Текла та кровь с Ерусалима-града, что земли середина на Ердань-реку. С Ердани-реки на Царь-град. С Царя-града на Москву-матушку, к чудотворцам Сергию-Троице. С каменной Москвы пошла та кровь в Соловки. К святым пчельим Зоси́ме, Сава́тию и Ге́рману. Да на Печеры великие, да на большой Урал камень. Да на Бараби́нскую степь, а оттуль на Алтай-батюшку.

Течет та кровь-руда Христова рекой неизсякаемой. А по ней, по крови той, Сыновьей, Христовой, как плот, либо ладья, либо корабль дивный, пошла святая икона Богородицы. И куда не придёт, светом светит необычайным. И великие чудеса совершает. А где крови Христовой конец, там и свету конец, и спокойствию.

Живёт на Сибири самоядь яса́шна, страшна: заре́чна, ми́нна, долинна. Живут дивьи народы Гоги и Магоги. Их же великий хан Мамай, да воеводы сибирские,

да славный атаман Ермак, в гору заключил. А выйти им через Алтай-горы, к Великому дню Всесветлого Воскресения. Чрез кровь святую Христову, Иисусову. Чрез свет небесный, чудес Матери Божией Пречистой.

— о —

Купина неопалимая

Ходила Пресвятая Богородица по тундрам нашим сибирским. На руках Христа-Младенца держала. Ходила по горам-лесам, по дубравам. Во тайгах тёмных несусветных бедствовала. По сёлам невесёлым, по городам-острожьям непригожим. Во полях ходила, во пустынях со Христовым именем.

Приутомились Её рученьки, приустали, искалечились. И прилегла Она под деревцо терновое. Под той святой терновый куст — Купину Неопалимую. Предвечного Младенца к себе на колени положила. А и Сама не опознала, как опочила.

Собрались ангелы, архангелы Её сон с Младенцем-Христом охраняти, Её в Её сне оберегать. А сон Ей снится, как в самом святом городе Вифлиеме, в самом святом вертепе Она Чадо своё спородила. В пелены пеленала, в ясли на соломку полагала. В святую Ердань окунала.

Над святой Ерданью рекой выросло дерево кипарисовое. Вечно-зелёное, к небу устремлённое. Красы неописанной, неоглядной. Явился на древе-кипарисе, по под-небесью, чуден крест — Крест Господень.

Быть Христу на том кресте распяту.

Люди руци и нози к кипарису древу пригвоздиша. Тростию-кремнем главу преломиша. Копием-железом ребра прободаша. На Святой Лик Христов наплеваша. Его же, Христа Милосердного проклинаша. Над ним же, Христом, Милостивым надругашася.

Ко Христу Мати-Божия припадала. Скорбными устами прошептала:

— Почто волею дался на распятие?

Уж тут Истинный Христос, Царь Небесный, Свою Мать стал утешати. Гласом своим возглашати:

— Не плачь, Мати, не рыдай, Мати! Не роси очи ясные, не скорби! Я сам по Тебе буду. Уж я сам Твою душу на небеса вознесу, ко Твоему светлому сну — Святому Успению. Спишу Твой лик на икону, светом опояшу. Как ризою драгоценной украшу сиянием чудесным. Водружу Твою икону во Божью церкву. Во Божью церкву, да за престол Отца, Бога Нашего. Стану Твоему лику молиться, станут Твоему лику поклоняться.

А Тебе, Мати, над миром воцариться, Владычицей Небесной. Чудеса творити, Неопалимой Купиной именоватися!

— о —

О Христе вечно нами распинаемом

СОН ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Мати Возлюбленная, Госпожа Пресвятая Богородица. Поведай Мне сон свой. И что Ты во сне своем про Меня видела!»

Опочивала Пресвятая Богородица во святом граде Вифлееме июдейстем. В месяце марте, в тридцатом числе. Во святой святыне, во святой горе, во вертепе. Над святой рекой, над Ерданию.

Ложилась Владычица спать и почивать. Владычице мало спалось. И во сне много виделось. Видела сон страшен и грозен, и чуден. Про возлюбленного Сына своего. Про самого Иисуса Христа, Царя Небесного, Спаса.

Как бы его, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, продал ученик Его Июда Скариотский. Ценою за тридесять сребрениц.

И, в скорости после, Христос взят был стражей, в ночной облаве, в Гефсиманском лесу. И приведен был

на поругание в стражню. И отдан был к Понтийскому Пилату, игемону * на суд.

И на кресте Христа, распяли, на трёх древах. На кедре, на кипарисе, и на пегве. ** Промежду двух разбойников, на горе Холгофе. Руки и ноги гвоздями пригвоздили. Копьем ребро Его пронзили, святую кровь пролили.

И вот, луна кровью облилась. И солнце померкло. Небо и земля потрясены. Церковная завеса на двое разорвалась, сверху и до низу. Камение распалось, гробы отверзлись. И многие усопшие восстали из мертвых.

И видела Пресвятая Богородица Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Поруганного, оплеванного, биенного. И видела Его в кровавом терновом венце. Видела, как Он был в гроб положен. И в землю погребен. И в третий день, по писанию, воскрес от гроба.

И видела Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Превышнем Престоле.

И как пришёл к Ней Христос, Спаситель мира сего. К Ней, к матери Своей пришёл, и сказал:

— Мати Моя возлюбленная Госпожа Пресвятая Богородица! Спишь ли ты, или так лежишь? Встань, пробудись!

---

* Игемон — правитель области.

** Певг — хвойное дерево, пихта. «И укрепи внутрь храма боками певговыми» (3-я Книга Царств, VI, 16).

И отвечала Ему Пресвятая Богородица, Христу, Сыну своему:

— Глаголю я Тебе: спала я во святом граде Ефлиееме июдейстем. Во святой святыне, во святой горе, во вертепе. Над святою рекою Ерданию.

Ложилась я, Владычица, спать и почивать. Мне, Владычице мало спалось. Сон видела, и страшен, и грозен, и чуден. Про Тебя сон, про Сына моего, Христа Света. И нельзя Тебе сон сей поведать!

И сказал ей Господь наш Иисус Христос:

— Мати возлюбленная, Госпожа Пресвятая Богородица! Поведай Мне сон Твой. И что ты во сне своем видела про Меня?

И отвечала Христу Пресвятая Богородица:

— Как бы Тебя, Господа моего, предал превозлюбленный друг Твой, ученик Твой, Июда Искариоцький. И Тебя взяли на поругание, и на муки, и на казнь!

Сказал ей Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира сего:

— Мати моя возлюбленная, Госпожа Пресвятая Богородица! Подлинно, сон твой не ложен, что ты во сне своем видела про Меня страсти, то всё надо мною сбудется. Я на то от тебя родился и сошёл от Отца Моего с небес. Муками и смертью крестной спасти излюбленный род человеческий. Кровью Моей избавить и вывести людей из ада преисподней, огня геёнского!

— о —

Народное сказание о Божией Матери

Хождение Пресвятой Богородицы по мукам

Древо железное и древо жизни

Баит кузнецу странница:

— Рече Пресвятая Богородица Михаилу Архангелу. Поведи меня, где мучатся из рода в род разные народы. Где вопли грешников и тьма кромешная. Где черви верченые, неусыпные и муки неизбывные, вечные!

Привёл Михаил Архангел Пресвятую Богородицу к древу железному. На нём ветви огненные, огнём полыхающие, Бога хающие. Тут многие народы — псы двуногие, мучатся. А кузнец кувалду взял, ею эдак, как пёрышком помахал и сказал:

— Станет мукам конец и воспрянет древо жизни. А древо железное, огнём полыхающее, Бога хающее, бу-

дет в бездне. Но Господь и его возжалеет. И оно заалеет зарёй новой, светом тихим, святым славословием!

Тут баила странница, услышав кузнеца:

— Тогда возрадуется Пресвятая Богородица и от радости возрыдает. Сына Божия облобызает и Сыну Божию скажет:

— Благодарение Тебе, Сыне, что мир не сгинул!

— о —

Христова молитва Пресвятой Богородицы

«...И когда пришли на место, называемое лобное, там распяли Его...

Иисус же говорил:

— Отче! Прости им, ибо не знают, что делают...»

(Евангелие от Луки, гл. 23, стихи 33, 34).

Шла странница со священного моря Байкала, через Урал-Камень.

Через гору железную, Благодать называемую. Через Златоуст-град, огненный, рудою пылающий!

Мимо палат сольвычегодских светлого графа Строганова.

На студённое Белое море, к тихой обители пчельих святителей Зосимы Саватию.

Странница к нам зашла, в слободу Кейскую. Села у нас на заваленке отдохнуть и сказала:

— Шла Пресвятая Богородица по земле, шла, приустала. Легла спать, приуснула. Привиделся ей сон про Господа Бога, про Христа Небесного.

Завели, будто, Его на гору. Тело Христово терзали. Голову зашибли, Святую кровь проливали. Руки и ноги гвоздием приковали. А он, Христос, за своих мучителей молится:

— Отче! Прости им, ибо не знают, что творят.

А кто эту молитву прочтёт, по утренней заре и по вечерней заре, избавлен будет от мук вечных. От огня палящего, от смолы кипящей, пожирающей, от бездны вод топящей.

Ушла странница. А баушка Масеиха про нее и говорит:

— Не иначе это, как сама Пресвятая Богородица. Из века в век она неустанно по земле ходит и о нас грешных Богу молится!

И мы не раз Богородицыну молитву читали, от всяких бед спасаясь. А бед у нас убогих было много. Слободу же нашу Кейскую назвали Мариинском *, градом — Марии, Пресвятой Богородицы.

---

* Мариинск (на реке Кие) Томской губернии.

— о —

В слободе Кейской или граде Пресвятой Марии

Город Кунгур у нас ярмарками и производством сапогов славился.

И хотя он находился в Пермской губернии, но, както тяготел к Сибири.

И, мы, сибиряки, его считали своим городом, и даже шутили:

— Пермяки те же сибиряки. Особенно кунгурцы!

Кунгурцы целыми обозами, в больших коробах, приезжали к нам на базар, и наваливали высоченные горы сапогов, приговаривая:

— Сапоги, сапожки,
Ванькам, Терешкам,
Бери, выбирай,
Носи, не теряй!

И раздавали нам матерчатые или бумажные иконки кунгурского монастыря, построенного во имя святого Алексия, человека Божия.

— Пресвятая Богородица поручила нам вас, каторжных, обувать. А сама Богородица из-за вас разутая ходит. Может вы, обувшись, к нам на богомолье пожалуете!

На кунгурской иконе, у Божьей Матери, был на левой руке Предвечный Младенец. А в правой — цветок, скорее похожий на ромашку, знаменующий скромность, душевную чистоту и неувядаемость.

Мы восторгались кунгурцами, пахнущими кожей и дегтем, раздающими иконку — Неувядаем цвет называемую.

В нашей слободе Кейской, позже названной городом Святой Марии, праздновали Неувядаемый цвет в конце каждого текущего года, тридцать первого декабря, в начале нового лета Господня благоприятного.

— o —

СОДЕРЖАНИЕ

СИБИРСКИЕ СКАЗКИ МИХЕИЧА

СИБИРСКИЕ СКАЗКИ КЕЙСКИЕ

СКАЗКИ НАРОДОВ СИБИРИ

ЛЕГЕНДЫ СИБИРСКИЕ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ